Брюс Чатвин Йозеф Рот Хеннинг Кейлер

Вниз по Волге

Москва - Казань / Ад Маргинем - Смена

Вниз по Волге

Брюс Чатвин, Йозеф Рот, Хеннинг Кейлер

Аннотация
Брюс Чатвин. Йозеф Рот. Хеннинг Кейлер. ВНИЗ ПО ВОЛГЕ
Брюс Чатвин «Волга» (1984)
Йозеф Рот «Вниз по Волге» (1926)
Хеннинг Кейлер «Красный сад» (1919)
Вместо послесловия. Артём Силкин «Воспоминание о Волге»

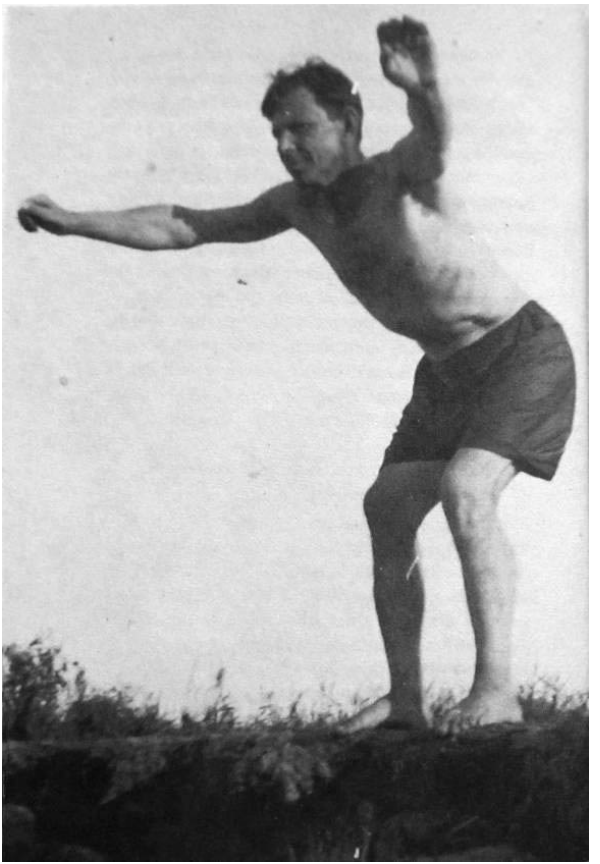
Аннотация

Волга — с одной стороны, метафора концентрированной «русской жизни», с другой, двухнедельный гедонистический вояж — уже несколько веков привлекает к себе внимание иностранцев, желающих познать Россию, но при этом не испытывать себя на прочность путешествием по Транссибу. В сборник «Вниз по Волге» вошли три репортажа зарубежных специалистов, побывавших на Волге в советские годы. Вместе они представляют не только интересный взгляд на СССР изнутри «витрины великого эксперимента», но и фиксируют в моменте состояния городов, спускающихся по Волге к Югу России, отмечая их локальные особенности, возникающие на пересечении вертикали реки и горизонтальных контекстов страны.

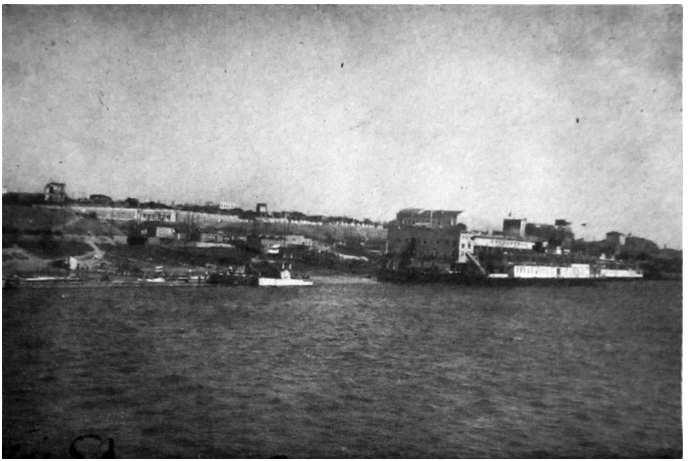
В книге использованы фотографии из нескольких неизвестных семейных альбомов. Один из них частично атрибутирован, фотографиями из него проиллюстрирован текст «Красный сад». В фотоальбоме запечатлено путешествие на пароходе «Красноар-

меец», состоявшееся в 1933 или в 1935 году (доподлинно установить даты на настоящий момент не удалось). Пароход был построен в 1912 году на Коломенском машиностроительном заводе и входил в состав флота общества «Кавказ и Меркурий» под именем «Кутузов». В сентябре 1942 года судно попало под бомбежку под Сталинградом и затонуло. Текст «Волги» проиллюстрирован фотографиями из альбома казанской семьи, путешествовавшей по Волге в 1950-е годы. Текст «Вниз по Волге» — фотографиями Волги 1930-х годов и открытками.

Брюс Чатвин
Йозеф Рот
Хеннинг Кейлер
ВНИЗ ПО ВОЛГЕ



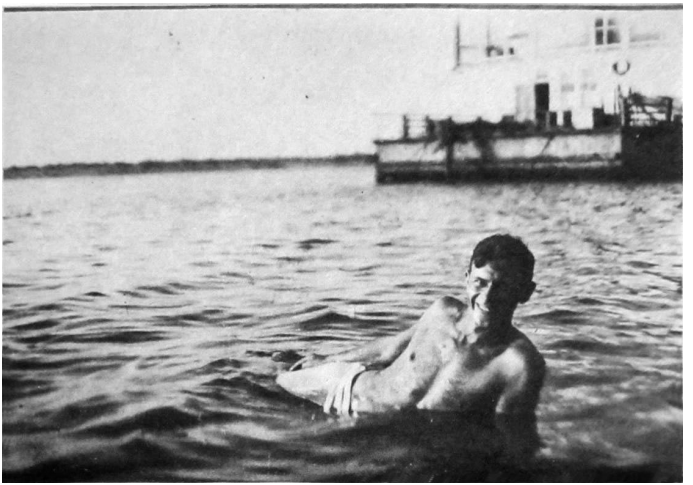




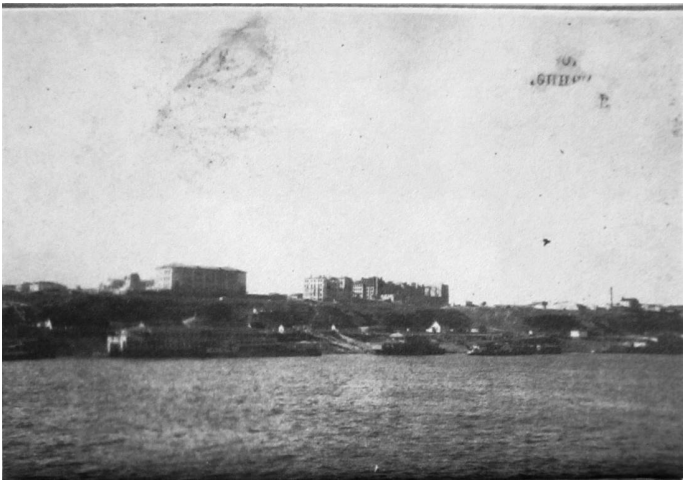
















Брюс Чатвин «Волга» (1984)

На русском языке текст впервые был опубликован в книге «УТЦ и другие истории из мира искусств» издательством Ad Marginem в 2013 году
Перевод: А. Асланян

Брюс Чатвин (1940–1989) — английский писатель, арт-критик, эксперт по импрессионизму в аукционном доме «Сотбис», коллекционер православных икон, друг фотографа Роберта Мэпплторпа. Умер от СПИДа 18 января 1989 года. Текст написан по заказу журнала Observer. Впервые опубликован под названием «Великие реки мира: Волга» в июньском номере 1984 года, после был включен в сборник What am I doing here. В статье описано путешествие «по следам викингов», совершенное летом 1982 года. В Казани Чатвин оказался в качестве гостя «Интуриста» в момент своей поездки на теплоходе «Максим Горький» вниз по Волге через Волго-Донской канал до Ростова.



На прогулочном теплоходе «Максим Горький» я провел десять дней в качестве гостя «Интуриста». Мы неспешно плыли вниз по Волге, потом через Волго-Донской канал и дальше, вниз по Дону, до самого Ростова. Дни стояли ясные, ночи — холодные. Все остальные пассажиры были немцами. Среди них попадались бывшие офицеры бронетанковых частей, чья молодость прошла в сибирских лагерях, теперь же они решили снова посетить места проигранных сражений. Неко-

торые служили в авиации, им посчастливилось не разбиться. Были там и военные вдовы — женщины с влажными глазами, которые сорок один год назад всё махали и махали вслед поездам, уходящим на фронт в Россию; теперь на вопрос, зачем приехали на Волгу, они склоняли голову и отвечали: «Mein Mann ist tot in Stalingrad».

Еще на борту был прусский юнкер, фон Ф. — бывший авиатор, гордый, со срезанным, как у Бисмарка, черепом и оставшейся от руки культей, на которой он удерживал в равновесии свою «лейку». В мирное время ему выпало стать инженером по водоснабжению; он поднимался на заре и, надев темно-зеленый суконный плащ, мерил шагами палубу, мрачно взирая на шлюзы, через которые мы проходили. Взгляды его на технические достижения Советского Союза можно было изложить одной фразой: «Восток минус Запад равняется нулю». Он сражался на стороне фашистов в Испании. И все-таки во время наших редких прогулок не было занятия приятнее, чем шагать по степи рядом с этим жилистым, оптимистичным человеком, слушая, как он делится своими энциклопедическими знаниями о России или о миграции варварских орд. Время от времени он указывал на какой-нибудь бугорок

на горизонте и восклицал: «Курган!», а однажды, когда мы подошли к небольшому углублению посреди равнины, остановился и с заговорщическим видом произнес: «Полагаю, это укрепление времен Второй мировой войны».

Каждое утро ровно в восемь из громкоговорителя раздавался повелительный голос: «Meine Damen und Herren…» и объявлял распорядок дневных мероприятии.

Начинались они с занятий гимнастикой на верхней прогулочной палубе, которые, насколько мне известно, никто не посещал. Затем обычно шла лекция о бурной революционной истории Поволжья. Или визит в один из прибрежных городов. Или на какую-нибудь из гидроэлектростанций, что превратили эту мать российских рек в цепочку застоявшихся внутренних морей цвета патоки.

Мы взошли на борт «Максима Горького» в Казани после наступления темноты. Корабельный оркестр играл попурри из всем известных меланхоличных русских мелодий. Женщина в крестьянском костюме вынесла нам традиционные хлеб с солью: капитан, чьи голубые глаза смотрели из глубины лица, состоявшего из горизонтальных линий, обошел всех, пожимая

руки. Речной порт лежал на плесе реки Казанки, недалеко от Адмиралтейства, где некогда пристала к берегу на своей царской галере Екатерина Великая, едва перед тем не утонув. За молом виднелись огоньки буксиров, тянущих баржи вверх по Волге. После ужина у причала перед нами пришвартовался лопастной пароходик с наклонной трубой. Каюты его были недавно отлакированы, в салоне висели подвязанные кружевные занавески.

Я спросил капитана, сколько лет этому суденышку.

— Восемьдесят, — сказал он. — А может, и все сто.

Это был обычный пассажирский корабль, идущий из Москвы в Астрахань, в дельту Волги; такое путешествие занимает десять дней. Остановка в Казани длилась полчаса. Затем мальчишка стащил чальный канат с тумбы, лопасти вспенили воду, и пароход тихонько отошел в темноту — уцелевшее наследие старого строя, при виде которого вспоминаются дамы в жестких черных юбках, каких порой можно увидеть пробирающимися через фойе Московской консерватории.

Чехов совершил поездку по Волге в 1901 году — это было его свадебное путешествие. Жена

его, Ольга Книппер, была актрисой, для которой он написал «Вишневый сад». Правда, в то время он уже страдал от чахотки, и врачи предписали ему «лечение кумысом». Кумыс — сквашенное кобылье молоко, обычный напиток всех степных кочевников, лекарство от всевозможных болезней. Упоминания о «бедных, питавшихся только млеком» встречаются в литературе со времен «Илиады»; приятно было представлять себе, как Чехов на своем пароходике набрасывает черновик нового рассказа и прихлебывает напиток, который был известен Гомеру.

Казань — столица Татарской автономной республики — находится милях в пятистах к востоку от Москвы, в месте, где Волга, попетляв между городами Северной Московии, сворачивает под прямым углом в сторону Каспия. Существует две Казани. Одна — русский город с кремлем и соборами, основанный Иваном Грозным в 1533 году после победы, в результате которой Россия наконец освободилась от татаро-монгольского ига. Другая Казань, там и сям усеянная минаретами, — город мусульманский, куда изгнали татар и где они остались жить. Татары составляют почти половину здешнего населения, их родной язык — татарский, они — потомки Золотой Орды Батыя.

В контексте российской истории слова «татары» и «монголы» — синонимы. Татарские всадники, появившиеся на окраине Европы в тринадцатом веке, считались воинами Гога и Магога, присланными Антихристом в качестве провозвестников конца света. Таким образом, боялись их не меньше, чем водородной бомбы. Россия приняла на себя их натиск. По сути, пока существовала империя татар, русские князья были нижними вассалами Великого Хана, правившего в Пекине; возможно, этим обстоятельством, к которому следует добавить сохранившиеся в народной памяти свистящие стрелы, горы черепов, всевозможные унижения, объясняется тот панический страх, что всегда испытывали русские к раскосым обитателям Центральной Азии.

По Волге проходит кочевническая граница современной Европы, подобно тому как варварская граница Римской империи проходила по Рейну с Дунаем. Стоило Ивану Грозному перейти Волгу, как он заставил Россию двинуться на Восток, и это расширение территории всё продолжалось, пока колонисты царских времен не встретились с американцами на реке Русской в Северной Калифорнии.

Я сошел на берег до завтрака. Мимо проскакива-

ли суда на подводных крыльях, а на клумбе у здания речного вокзала сидела одинокая дворняжка, жуя вербену. Сквозь путаницу телеграфных проводов я ухватил взглядом Петропавловский собор, который в этот туманный утренний час напоминал пагоду в воображаемом Китае. Здание вокзала было безлюдно, однако на площади позади него дворники подметали нападавшую за ночь листву; в нос лезла вонь дешевого бензина; женщина в платке с анилиновыми розами открывала ставни своего ларька с квасом, перед которым выстроилась очередь.

Квас — пиво, которое делают из ржаного хлеба, но на завтрак его не хотелось. Хотелось кумысу — мне говорили, что его можно достать. «Кумыс — нет!» — сказала женщина. «А есть тут какое-нибудь место, где его продают?» — не отставал я. «Кумыс — нет!» — повторила она. «Кумыс — нет!» — проревел татарин в черной шапке и черном ватнике. Он стоял за мной.

В это время года кобылицы, очевидно, молока не давали, и мне, видимо, полагалось об этом знать. Так что я вернулся на набережную, где пришвартовался другой пароход, идущий на север. Вверх по трапу тащились семейства со своими пожитками. Вокруг расхаживали солдаты в сапогах;

казалось, будто между ног у них застряли седла. Потом на берег ступил стройный юноша, в руках у него был одинокий стебель пампасной травы.

В одиннадцать мы отправились в город. Наш автобус остановился напротив университета перед чьей-то затеей в легкомысленном духе: лепнина, фасад загроможден обнаженными фигурами, окна расписаны павлинами и пионами. Это, как признался гид, некогда был особняк миллионера. Теперь тут магазин технической книги.

Что же до мрачного неоклассического здания университета, оно как раз ничем не отличалось от второразрядного американского колледжа на Среднем Западе, если не обращать внимания на изредка попадающиеся серп и молот. Студенты расхаживали повсюду с портфелями или загорали в мемориальном саду. Правда, фойе обрамляли портреты ученых с грустными лицами, да еще нам велели надеть на обувь серые фетровые бахилы, чтобы не повредить паркетный пол.

Наверху нас провели в аудиторию, где изучал право Ленин, пока его не выгнали за участие в студенческой демонстрации: помещение с голыми скамьями, доской, печкой, облицованной белой плиткой, и керосиновыми лампами с зелеными абажурами.

Будучи студентом в Казани, Ленин, разумеется, еще не взял себе псевдоним в честь другой реки, сибирской Лены. Его звали Владимир Ильич Ульянов. Это был рыжеволосый юноша с чересчур твердо очерченной нижней губой, приехавший сюда с матерью и сестрами из Симбирска. Всего за год до того его старшего брата Александра казнили в Петербурге за изготовление бомбы, предназначенной для убийства царя. Дом Ульяновых — уютная деревянная постройка, выкрашенная в цвет темной патоки, — находится в холмистом пригороде, который некогда называли «Русской Швейцарией». Услышав о смерти брата, юный Володя, согласно легенде, с полным хладнокровием сказал: «Мы пойдем другим путем». А в полуподвальном помещении вам покажут буфетную, крохотный уголок, где он, закинув ноги на печурку, впервые окунулся в «Das Kapital».

Учился здесь и граф Лев Толстой. Он провел в университете пять с половиной лет в 40-х годах девятнадцатого века, изучая восточные языки, право, историю и философию. Уже восемнадцатилетним юношей он вел дневник, куда заносил свои мысли и «Правила жизни»: «Отдаляйся от женщин»… «Убивай трудами свои похоти»…

Однако в конце концов он решил, что у профессоров ему учиться нечему, и приказал кучеру ехать в Ясную Поляну. «Гениальные люди оттого неспособны учиться в молодости, — писал он каких-нибудь двенадцать лет спустя, — что они бессознательно предчувствуют, что знать надо иначе, чем масса».

Покинув дом Ульяновых, немцы вернулись на теплоход обедать. Я ускользнул от них и пошел в Музей Максима Горького, выбеленное здание на углу, рядом с игровой площадкой, которую украшали картонные фигуры спортсменов. На другой стороне улицы люди с деревянными лопатами закидывали в подвал картошку, наваленную горой. Внутри две женщины материнского типа задумчиво разглядывали огромную выставку фотографий и памятных вещей, связанных с этим писателем, нынче возведенным едва ли не в ранг божества. Его рабочий стол был завален всякой всячиной; кроме его костюмов, в музее имелась и пара штанов из оленьей шкуры, какие носят самоеды.

Горький — в то время Алексей Максимович Пешков — приехал сюда скромным юношей из Нижнего Новгорода (теперь Горький) в 1884-м. Он тоже надеялся поступить в университет, но

его не приняли: он был слишком молод, невежествен и беден. Взамен ему пришлось отправиться за ученьем в дешевые номера, в ночлежки, в публичный дом, на речные верфи, в подвал пекарни, где он зарабатывал себе на жизнь. То были «Мои университеты» — такое название получил второй том его автобиографии. Он водил дружбу с революционерами-любителями и бродягами-профессионалами. Однажды в конце зимы он стрелялся — однако пуля пробила не сердце, а легкое. Река звала его на юг, на вольный воздух казацкой степи, к той «Голубой жизни», что впоследствии дала название одному из его рассказов. Из Казани он уплыл на пароходе: «Волга только что вскрылась, сверху, по мутной воде, тянутся, покачиваясь, серые, рыхлые льдины, дощаник перегоняет их, и они трутся о борта, поскрипывая, рассыпаясь от ударов острыми кристаллами. <…> ослепительно сверкает солнце…» Три года он бродяжничал. Затем напечатал свой первый рассказ в тифлисской газете. На карте в музее обозначен зигзагообразный маршрут его странствий; после мы разглядывали фотографии: преуспевающий молодой автор «из народа» в вышитой сорочке читает перед собравшимися буржуазными интеллигентами; вилла на Капри,

дата — 1908 год; со своим новым другом, теперь уже, безусловно, известным под именем Ленин, который непременно ходил на пляж в котелке. Потом — Нью-Йорк; потом — еще одна вилла, в Таормине; а потом, в двадцатых годах — снова Москва. На последнем снимке, сделанном в его ужасном, в стиле ар-нуво доме на улице Качалова перед самой смертью (отравление?) в 1936-м, — послушный старик, силы которого на исходе.

На улицах Казани лежал отпечаток былой коммерческой деятельности. Дворы, некогда заполненные штабелями бочек с рыбьим жиром и дегтем, теперь стояли пустые, заросшие лопухом и чертополохом. И всё же бревенчатые домики с занавесками, самоварами, кустами смородины, фиалками на подоконниках, завитками голубого древесного дыма, выходящими из жестяных труб, — всё это вновь заявляло о человеческом достоинстве и стойкости крестьянской Руси. Где-то на этих улочках был «дом терпимости», в котором потерял девственность Толстой; по окончании акта он сел на шлюхиной постели и, не выдержав, разрыдался, как дитя. Об этом идет речь в его рассказе «Святочная ночь».

Зайдя во дворик за церковью, я увидел там монахиню, кормившую хлебом голубей. Дру-

гая монахиня поливала герань. Улыбнувшись, они пригласили меня прийти завтра на службу. Улыбнувшись в ответ, я сказал, что меня уже не будет в Казани. Затем мы попытались пообедать в ресторане «Казань», но дальше пышного позолоченного входа не пробрались. «Нет!» — сказал официант в черном галстуке. Он ожидал какую-то делегацию. Тогда мы съели капустные щи и яичницу в шумном кафе, облицованном белой плиткой, где распоряжалась властная татарка, которую разбирал смех. Голова ее была повязана белой тканью — конструкция того рода, что иногда попадаются на персидских миниатюрах.

Улочки татарской части города были грязными, зато двери и ставни на некоторых домах выкрашены в прелестный оттенок голубого. У входа в мечеть стояла пара старых ботинок. Внутри было темновато, вечернее солнце, протискиваясь через окно с цветным стеклом, оставляло на ковре красные пятна. Старик в каракулевой шапке стоял на коленях, обратившись лицом к Мекке, и молился. На верхушке минарета — над этим самым северным форпостом ислама, лежащим на широте Эдинбурга, — посверкивал золотой полумесяц.

Когда стемнело, была устроена дружеская

встреча, во время которой я заметил стройную татарскую девушку — она тянула шею, чтобы посмотреть на иностранцев. У нее были блестящие черные волосы, розовые щеки и раскосые серо-зеленые глаза. Танцы ей, кажется, понравились, но, когда немцы стали играть в музыкальные стулья, по лицу ее скользнула тень ужаса.

«Максим Горький» плыл всю ночь по Куйбышевскому водохранилищу и мимо устья Камы. На заре мы подходили к Ульяновску. По дороге мы, если верить картам, миновали древний город Великие Булгары, где в десятом веке арабский путешественник по имени Ибн-Фадлан, проснувшись однажды утром, увидел на реке быстроходные корабли, стоящие на якоре. Это были викинги. «Никогда не доводилось мне видеть людей более совершенных телом, — писал он. — Ростом они были как финиковые пальмы, окрасом рыжеваты. Верхнего платья они не носят, однако у каждого из мужей на руке плащ, прикрывающий половину его тела, другая же рука остается свободной. Мечи их напоминают формой те, что у франков, широкие, плоские, с желобками. Тело каждого мужчины, от пальцев до шеи, покрыто татуировками: деревья, фигуры и прочее». С наступлением зимы один из военa-

чальников викингов умер, и товарищи решили похоронить его в гробнице-корабле на берегу реки. Описание Ибн-Фадлана таково: корабль украшен резными драконами, четыре березовых столба; почерневшее от мороза тело зашито в одежду; принесен в жертву верный пес, а после — кони умершего. В конце рабыня, которую тоже следовало принести в жертву, отдается каждому из воинов. «Скажи своему хозяину, — говорили они, — что я сделал это из любви к нему». В пятницу после полудня воины трижды поднимали ее над бортом корабля. «Смотрите! — кричала она. — Вижу хозяина в раю, рай прекрасен и зелен, а с ним мужи и юноши. Он зовет меня. Отпустите меня к нему!» В этот миг старая великанша, ведьма, которую они звали «Ангел смерти», сняла с запястий женщины браслеты. Воины заглушали ее крики, колотя в свои щиты. Шестеро мужей снова взяли ее, и пока она лежала без сил, «Ангел смерти» накинула ей на шею петлю и воткнула между ребер кинжал.

Перед Ульяновском приволжские утесы были усеяны дачными домиками, окруженными яблоневыми садиками, где висели зеленые, терпкие на вид плоды; домики были выкрашены в разные цвета, яркие, простонародные. Ульяновск — роди-

на Ленина; до того, как его переименовали в 1924 году, это был сонный уездный город Симбирск. В народе его называли «Городом на семи ветрах». Автобус, отойдя от набережной и покружив вверх по холму, выехал на широкую улицу, обрамленную тополями и деревянными домиками. Это была улица Московская, где некогда жил инспектор народных училищ Илья Николаевич Ульянов со своей суровой красавицей-женой Марией Александровной Бланк. Она была набожная лютеранка из поволжских немцев; в ее аккуратном доме — гнутые деревянные стулья, крашеные полы, чехлы на креслах, занавески с воланами, ромашки на обоях, карта России на стене в столовой — чувствовалась будущая пуританская, если не сказать педагогическая, атмосфера личных апартаментов Ленина в Кремле.

Как писал Эдмунд Уилсон, приезжавший сюда в 1935-м, чтобы собирать материал для своей книги «На Финляндский вокзал», путешественнику легко могло показаться, будто он и не покидал Конкорд или Бостон. В нескольких домах от ленинского я видел наглухо запертую лютеранскую церковь. На мой взгляд, это место скорее напоминало Огайо.

На фотографиях инспектор народных училищ

смотрелся приятным человеком с открытым лицом, лысой макушкой, бакенбардами и высокими скулами, как у его предков — астраханских татар. Александр же, напротив, пошел в мать: капризный с виду мальчик с копной темных волос, раздувающимися ноздрями и скошенным подбородком. А в нижней губе юного Владимира чувствовалось стремление перевернуть землю…

Расхаживая по тесным спальням, экскурсовод показывала нам детские бумажные кораблики, обруч, швейную машинку няни и рисунок, сделанный сестрой Ленина: голландские ветряные мельницы, возможно, увиденные в поволжском поселении голландцев ниже по реке. На всех кроватях были аккуратные белые, без единого пятнышка, взбитые подушки. В комнате Александра мы увидели его химические пробирки и золотую медаль, которую он заложил в Петербурге, чтобы купить азотной кислоты для бомбы. В то время он изучал морских равноногих на естественном факультете.

В семействе Ульяновых любили литературу, и экскурсовод, указав на книжные шкафы, где стояли собрания сочинений Гёте и Гейне, Золя и Виктора Гюго, сообщила, что Мария Александровна знала девять языков — «включая немецкий»,

добавила она, улыбнувшись немцам.

— Она же была немка, — сказал я.

Экскурсовод застыла и сказала по-английски: «Нет!»

— А там, дальше по улице, как раз ее лютеранская церковь, — продолжил я.

Экскурсовод покачала головой и пробормотала: «Нет!» — а немецкие дамы обернулись ко мне и нахмурились. С точки зрения обеих сторон, я, очевидно, нес ересь.

В 1887 году, когда Володя Ульянов учился в седьмом классе, директором симбирской гимназии был Федор Керенский, чей сын Александр впоследствии стал пылким адвокатом, считавшим своим долгом спасение страны, — «этот болван Керенский», свергнувший царя и свергнутый, в свою очередь, Лениным. В классной комнате, где учился Ленин, стояла черная парта, а на ней — букет пунцовых астр. Каждый ученик имеет право хотя бы раз за время обучения в школе посидеть за той самой партой.

Внизу, у входа, висит огромное полотно, на котором Ленин в своей гимназической шинели созерцает ледоход на Волге. Россия то и дело возникает в музыке, литературе и живописи своего народа в образе реки или медленно плывущего

корабля. Песня «Эй, ухнем» вдохновила Репина на создание «Бурлаков на Волге». Вероятно, ни одна картина девятнадцатого века не повлияла на общественное сознание так же сильно, как эта. На ней группа простолюдинов тащит баржу против течения. Груженое судно возвращается из таинственных восточных земель, откуда придет спаситель и избавит народ от страданий.

После обеда я погулял по Венцу — старому дворянскому кварталу Симбирска, лишившемуся своих особняков и церквей, на смену которым пришли бесконечные километры асфальта, учреждения местных советов и сквер с памятником Карлу Марксу. Дойдя до места, где асфальт кончался, я прошел по шаткому бревенчатому мостику и зашагал вниз по холму, через парк Дружбы народов — запущенную местность, где стоят разваливающиеся дачные домики и неухоженные сады. Тропинка заросла репейником, листья колючих кустов были красными. В воздухе стоял запах картофельной ботвы, которую жгли на костре. Река внизу растворялась в дымке. Отыскав дыру в заборе из металлолома, я заглянул внутрь и увидел старика, возившегося с капустными грядками в последних лучах летнего солнца.

Дойдя до реки, я взошел на борт одного из дебаркадеров: это была своего рода плавучая гостиница, выкрашенная в зеленоватый, льдистый цвет, словно Зимний дворец; в царские времена здесь, в каютах наверху, путешественники могли поесть, отдохнуть или завести мимолетный роман в ожидании парохода. На скамейке у заколоченного киоска жевал булку человек без пальцев. Он подозрительно оглядел меня, успев услышать, что в округе немцы. Когда я сказал, что я англичанин, металлические зубы вспыхнули, и он принялся объяснять, сколько немцев застрелил в войну: «Бум! Да!.. Бум! Да!.. Бум! Да!..» — разрезая воздух своими беспалыми кулаками и возбуждаясь до такой степени, что я испугался, как бы он не забыл, что я не немец, и не сбросил меня в покрытую нефтяной пленкой воду. Я попрощался; он втиснул кулак в мою протянутую руку.

Один из экскурсоводов «Интуриста» был нервный молодой человек, безупречно говоривший по-французски и одетый в белую рубашку с узором из казацких сабель. Он сказал, что теперь на этом участке реки осетр почти не ловится — за икрой надо ехать в Астрахань. Ему откуда-то было известно про визит Ленина в Лондон на конгресс

Второго интернационала и даже про английских друзей Ленина, Эдварда и Констанс Гарнетт. Я сказал, что когда-то знал их сына Дэвида, еще в бытность его мальчиком; он обычно носил в бумажнике ленинский автобусный билет на проезд от Тоттенхэм-корт-роуд до Патни, где они жили. «Mais c'est une relique précieuse», — воскликнул экскурсовод.

Торговец ромом, сидевший за нашим столом в кают-компании «Максима Горького», неистово-сосредоточенно поджидал, когда можно будет похитить все кусочки масла, застав нас врасплох. Порой, увидев нашу заминку при виде основного блюда, он поднимал вилку в воздух и со словами «Разрешите, пожалуйста» подцеплял куски свинины с наших тарелок. Он сражался под Сталинградом. Из 133 человек в их подразделении уцелело семеро. Его соседом по каюте был школьный учитель, пылкий любитель бальных танцев, покрытый вечным бронзовым загаром; поросль его пересаженных волос напоминала молодое рисовое поле. Он был летчиком-наблюдателем на «юнкерсе». В свое время ему приходилось бомбить несколько мест, лежащих у нас на пути, и теперь он вернулся сюда, полный духа Kameradschaft.

Около десяти часов мы пристали к берегу неподалеку от Куйбышева рядом с заправочной баржей. Вдоль горизонта тянулись газовые всполохи. Вечер стоял теплый. На барже сидел, развалившись на стуле, молодой человек в резиновых сапогах и рубахе, расстегнутой до пупа, а тем временем старуха, годящаяся ему в бабушки, вытягивала резиновый заправочный шланг, прикручивала форсунку. Сама баржа представляла собой шедевр конструктивизма, сварганенный портовыми рабочими и выкрашенный в серый с красным. На корме сушились чьи-то детские пеленки; на той же бельевой веревке было вывешено полдюжины карпов. А что за жизнь протекала внизу! Не успели мы причалить, как из кабины стайкой высыпали девушки, захватили наш теплоход и начали танцевать. Кто-то из экипажа, парень с аккуратными песочными усами, подключил на кормовой палубе катушечный магнитофон, и вскоре все они отплясывали под музыку диско, весьма необычную. Парню ужасно хотелось угодить девушкам, он то и дело велел людям танцевать друг с дружкой, а сам, выказав превосходные манеры и без тени снисходительности, демонстративно пригласил на танец самую некрасивую из этой компании.

Надо сказать, она была необъятна. Двадцать минут она вращалась вокруг своей оси, медленно, словно каменная статуя на пьедестале, а он тем временем всё прыгал вокруг, смеялся, подпевал и вскидывал ноги. Тут старуха с заправочным шлангом закричала, девушки потянулись обратно, перелезая через поручни, все помахали руками, и мы снова тихонько отплыли в ночь.

У меня в каюте был экземпляр «Войны и мира». Я открыл главу двадцатую и перечел рассказ о том, как старый граф Ростов пляшет с Марьей Дмитриевной «Данилу Купора»: «Граф танцовал хорошо и знал это, но его дама вовсе не умела и не хотела хорошо танцовать. Ее огромное тело стояло прямо с опущенными вниз мощными руками (она передала ридикюль графине); только одно строгое, но красивое лицо ее танцовало».

Фон Ф. поднялся с рассветом, чтобы, завернувшись в свой суконный плащ, проинспектировать три шлюза на границе Куйбышевского водохранилища. «Замечательно, — сказал он, имея в виду шестьсот километров внутреннего моря, что тянулось у нас за кормой едва ли не до самого Горького. — Однако, — добавил он, махнув на стены шлюза, — бетон здесь потрескался».

Стоял ужасный холод. Солнце на горизонте

походило на мяч. Ворота последнего шлюза отворились, и мы двинулись по дорожке золотого света. Вдали Волга сжималась до размеров реки. На западном берегу был песчаный пляж и полоса тополей; на восточном — цепочка рыбацких хижин и лодок, вытащенных на сушу. Мы обогнули излучину и увидели Жигулевские горы, единственные холмы в этих краях, некогда прибежище бандитов и революционеров. Склоны их поросли березой и сосной; а что за названия: Молодецкий курган, Девья гора, Два брата…

Отойдя от Жигулей, мы пересекли реку, сошли на берег и поехали в Тольятти, где находится крупнейший в Советском Союзе автомобильный завод. Город Тольятти назван в честь бывшего главы компартии Италии, однако завод обязан своим существованием ведущему итальянскому капиталисту своего поколения, Джованни Аньелли. Аньелли, как мне однажды рассказывали, в свое время просидел чуть ли не целую зиму в Москве в отеле «Метрополь»: у него на глазах приходили и уходили руководители всех больших автомобилестроительных корпораций, а он пересидел всех и в конце концов выбил контракт для «Фиата».

Полоса стекла и бетона протянулась вдаль по

голой долине. Впрочем, целью нашей довольно утомительной поездки на автобусе было не посетить завод, а установить, где, в какой точке горизонта он кончается. Стоило нам до нее добраться, как мы повернули назад. Экскурсовод меж тем забрасывал нас статистическими данными.

Средняя температура зимой — 18 градусов ниже нуля. Машины сходят с конвейера в среднем по 2500 в день. Средний возраст рабочих — двадцать семь лет. Среднее количество браков — 5000 в год. Почти у каждой пары есть квартира и машина, а разводов очень мало.

На стоянке у Волги нам встретилась пара новобрачных. Невеста была в белом, жених — с красной перевязью через плечо. Вид у них был застенчивый, смущенный; немцы же, наконец обнаружив в Тольятти хоть что-то человеческое, начали вести себя так, будто попали в зверинец. Пара, прижатая к парапету фотографами-любителями, стала пробираться от них к своей машине. Перед этим они бросили в пенистую воду красные розы, и одна из них зацепилась за камень.

Когда я проснулся на следующее утро, деревья исчезли, мы плыли через степь — львиного цвета землю, покрытую стерней и жухлой травой. В

оврагах полыхали кусты, однако нигде не было видно ни коровы, ни домика, одна лишь телеграфная линия. Я сидел на палубе, листал страницы пушкинского «Путешествия в Арзрум»: «Переход от Европы к Азии делается час от часу чувствительнее: леса исчезают, холмы сглаживаются, трава густеет и являет большую силу растительности; показываются птицы, неведомые в наших лесах; орлы сидят на кочках, означающих большую дорогу, как будто на страже, и гордо смотрят на путешественников; по тучным пастбищам

Кобылиц неукротимых
Гордо бродят табуны».

В силу советских мер безопасности шлюзы не были обозначены на карте Волги, пришпиленной к доске объявлении на теплоходе. В результате водохранилища и реки походили на связку сосисок. Руководитель круиза то и дело предупреждал, что фотографировать запрещено, и говорил о вооруженных охранниках и других чудищах, готовых накинуться на всякого, кто попадется за этим занятием. Шлюз перед Балаковым был особенно внушительным сооружением, над ним проходил шоссейный и железнодорожный мост, имелась там и огромная оранжевая мозаика — фигура, напоминающая Гермеса, по-видимо-

му, символ коммуникаций. У фон Ф. чесались руки; чтобы потихоньку сделать снимок, он спрятал фотоаппарат в рукаве. Однако шлюз оказался безлюдным, если не считать женщин, управлявшихся с механизмами, да ватаги тощих мальчишек, стрелявших из рогатки камушками, которые прыгали по нашей небесно-голубой палубе.

Стояло воскресенье. Солнце сияло, с берега махали выбравшиеся на природу люди, одышливые прогулочные катера пыхтели вверх и вниз по реке, до самых фальшбортов набитые пассажирами. В три часа мы сошли на берег; это был Девушкин остров, где некогда держал свой гарем хан — правитель Золотой Орды. Правда, до того на острове жили амазонки. У амазонок был обычай предаваться любви с пленниками-мужчинами, а после их убивать. Иногда пленники оказывали сопротивление, но один юноша охотно согласился на смерть при условии, что ему будет даровано одно желание. «Хорошо», — сказали ему. «Пусть меня убьет самая уродливая из вас», — ответил он — и, разумеется, выбрался с острова живым. Эту историю нам рассказала Светлана, сотрудница «Интуриста», девушка с замечательным ртом, уголки губ которого кривились, и зелеными ма-

нящими глазами.

Я пустился в глубь острова по тропинке, которая вела через заросли травы с красными стеблями. От полыни под ногами шел горький запах. Шуршали ужи, ивы полоскали белые ветви на ветерке. Побеги молодых ив были покрыты налетом, подобным тому, что бывает на красном винограде. С заросшего травой пруда взлетела пара уток. Впереди тянулись еще ивы, еще вода, а за ними — голубая даль, небосвод. Переходя болотистый участок, я подумал: «Это то место в очерке Тургенева, где рассказчик с собакой переходят болотистый участок и из-под ног у них взлетает вальдшнеп».

Я сделал шаг или два вперед — и вот он, вальдшнеп, взлетел! Если бы всё на самом деле происходило в очерке Тургенева, не обошлось бы еще и без отдаленных звуков песни, а потом появилась бы крестьянская девушка с яблочным румянцем на щеках, торопящаяся на тайное свидание с милым. Я прошел еще ярдов сто и сначала услышал пение, а потом увидел между деревьями белый крестьянский головной платок. Я приблизился, но женщина продолжала собирать ягоды. Она была немолода.

У нее были крашенные хной волосы и фаль-

шивые зубы. Я предложил ей собранные мною грибы, она сказала: «Нет!»

Вернувшись на пристань, еще один Зимний дворец в миниатюре, я увидел, что служитель поймал маленького, с печальной мордой осетра. Наши матросы страшно загорелись идеей поесть ухи. Один из них принес котелок, другой — нож, а пока котелок закипал, рыбаки с помощником капитана играли в бильярд в салоне на нижней палубе. Осип Мандельштам говорит: «Твердолобый перестук бильярдных шаров так же приятен мужчинам, как женщинам выстукивание костями вязальных спиц». Не знаю, как вам, а мне перспектива застрять в этом местечке представляется вариантом далеко не худшим: размеренная жизнь — русские романы, рыбалка, шахматы, бильярд, — время от времени нарушаемая приходом «Максима Горького», напоминающим тебе, что на дворе 1982-й, а не 1882-й.

Утро понедельника 27 сентября было ветреным и началось с лекции о внутренних судоходных путях Советского Союза. За пару дней до того я видел маленькую парусную яхту, спешащую вверх по реке. Вот бы получить разрешение и пройти под парусом от Черного до Белого моря

— от такого приключения я бы не отказался! В Казани, откуда мы уплыли всего четыре дня назад, в разгар бабьего лета, теперь было четыре градуса мороза.

Весь следующий день мы провели на теплоходе. Время от времени по горизонту проплывало смазанное пятно: трубы, многоквартирные дома. Один из городов назывался Маркс, бывший Баронск, после — Марксштадт, столица Республики немцев Поволжья. «А где же теперь эти немцы?» — спросила дама из Бонна, шея которой покраснела от возмущения, когда она взирала на тонкую линию берега. «Уехали», — сказал я. «Погибли! — воскликнула она. — Или в Средней Азии. Так мне говорили». В тот же день мы подплыли близко к берегу вдоль полосатых слоистых утесов, где белые пласты перемежались с мерными. Из громкоговорителя полился глубокий бас, исполнявший песню казацкого мятежника Стеньки Разина. Мы увидели стадо черных и белых овец на голом холме. Внезапно на пустом месте возник истребитель «МиГ», нахохлившийся на постаменте. Степан (или Стенька) Разин, сын зажиточного казака из донской станицы, считал, что казацкий обычай делить награбленное поровну должно соблюдать любое правительство. Он полагал, что

такие же уравнивающие методы должны распространяться и на саму царскую власть в России.

На престоле в то время оказался Петр Великий. В Астрахани Разин захватил в плен персидскую княжну, которая стала его любовницей и которую он швырнул в Волгу, желая поблагодарить реку за то золото и драгоценности, что она ему подарила. В Царицыне он убил местного воеводу, некоего Тургенева, возможно, предка великого писателя. Покинутый своими единомышленниками, Разин потерпел поражение под Симбирском и был казнен в Москве. В советской агиографии он считается «протокоммунистом».

На заре мы прибыли в Волгоград. Город, некогда называвшийся Сталинградом, — город лепнины и мрамора, где советские ветераны постоянно фотографируют друг дружку перед военными памятниками. Перестроенный в «третьеримском» стиле сороковых и пятидесятых, он поднимается слой за слоем вдоль европейского берега Волги. Стоя на ступенях монументальной лестницы, ведущей вниз, к порту, можно обернуться назад, где за парой дорических пропилей, за еще одним дорическим храмом, выполняющим роль киоска с мороженым, за песчаными островами раскинулась поросшая кустарником азиатская пустошь,

что сулит далекие пустыни.

В десять, под звуки музыки, от которой пробирала дрожь, мы, пассажиры «Максима Горького», собрались на площади Павших борцов, чтобы в качестве делегации раскаявшихся немцев добавить корзину гладиолусов с гвоздиками к горам красных цветов, уже наваленным тем утром вокруг Вечного огня. В боковой части красного гранитного обелиска отражались растущие в сквере ели и фасад гостиницы «Интурист», построенной на месте бывшего бункера фельдмаршала Паулюса. Медленно шагая строем, вперед вышел отряд юных пионеров: мальчики в защитной форме, девочки в белых пластмассовых сандалиях, за ушами — белые тюлевые банты. Все вытянулись по стойке смирно. Церемонию возложения провели торговец ромом и школьный учитель, оба — оставшиеся в живых участники битвы. Щеки их были мокры от слез; военные вдовы, уже который день собиравшиеся с духом перед этим испытанием, сморкались в платки или просто стояли с видом потерянным и несчастным, вцепившись в свои сумочки.

Внезапно поднялся легкий переполох. Позади нас была группа советских ветеранов, воевавших в 62-й армии, родом из среднеазиатских

республик. Их экскурсовод показывал им фото, на котором сдавался Паулюс; услышав немецкую речь поблизости, увидев «врага», ненамеренно топчущего край газона, и приняв это за нечто кощунственное, они начали перешептываться между собой. Затем откуда-то выдвинулся человек с бычьим лицом и велел немцам убираться. Дамы, вид у которых сделался несчастнее прежнего, поспешно отступили на бетонную дорожку. «Чрезвычайно интересно», — сказал фон Ф., проносясь мимо по пути к автобусу.

Когда война закончилась, кто-то предложил оставить развалины Сталинграда как есть — вечный монумент в память о победе над фашизмом. Однако Сталину мысль о том, что его город так и будет лежать кучей обломков, пришлась не по душе, и он приказал перестроить его — сделать таким, как до войны, даже лучше. Впрочем, одни развалины он оставил нетронутыми — здание мельницы на ведущем к реке склоне, которое разнесла бомба. Окруженная бесконечным морем бетона, мельница лежит между стелой-штыком, футов двести высотой, всё еще в лесах, и постройкой, по форме и размеру напоминающей градирню, где посетители (по предварительной записи) могут осмотреть мозаичную панораму

битвы. Я стоял на площади и понимал, что до реки можно, если постараться, добросить камушком, — и все-таки, несмотря на истерические вопли Гитлера, несмотря на все танки, самолеты и живую силу, немцы так и не смогли до нее дойти. Русские сражались под лозунгом «Ни шагу назад». Вероятно, этим всё и объяснялось.

Повсюду вокруг были пожилые мужчины и женщины, у кого-то не хватало руки или ноги, все сияли медалями в солнечном свете. Тут я заметил, что фон Ф. яростно расхаживает вокруг образцов советской военной техники, выстроенных рядами в качестве экспонатов.

— Американцам даже спасибо не сказали! — обратился он ко мне, понизив голос.

— Их же спасли американские танки, а не эти… и Паулюс, конечно!

— Как так?

— Настоящий прусский солдат! — пояснил он. — Всё время подчинялся приказам… даже когда эти приказы потеряли всякий смысл!

Прежде в беседе я спрашивал фон Ф., почему Гитлер не пошел прямо на Москву летом 1941-го.

— Виноват Муссолини, — ответил он ровным тоном. — Вторжение в Россию было запланировано на весну. Но тут Муссолини напортачил в

Греции, и немцам пришлось помогать. Для Москвы было уже слишком поздно — время года не то. Гитлер решил не повторять ошибку, сделанную Наполеоном в 1812-м.

Мамаев курган — холм в северном пригороде, где татарский хан Мамай некогда разбил свой шатер я где в честь двадцатипятилетия победы под Сталинградом был построен монументальный комплекс «Героям Сталинградской битвы».

Во время сражения взять эту высоту означало взять Сталинград. Хотя немцы захватили водонапорную башню на вершине, солдаты маршала Жукова удержали восточный склон. Когда местность расчищали, на каждом квадратном метре было найдено в среднем по 825 пуль и осколков. Леонид Брежнев открыл мемориал на Мамаевом кургане со словами: «Камни живут дольше, чем люди…» Тем не менее монументы были сделаны из железобетона; фон Ф., будучи экспертом по железобетону, оценил их шансы на долголетие не особенно высоко.

Первое, что мы увидели из автобуса, была гигантская статуя Родины-матери, делающая шаг в дымку и размахивающая мечом вместо трехцветного флага, — замыслом своего создания она явно была обязана «Свободе, ведущей народ» Делакруа.

От проспекта Ленина мы отправились к вершине холма — но какая же полоса препятствий лежала на нашем пути! Подобно паломникам, идущим, скажем, в Рим, Мекку или Бенарес, посетители Мамаева кургана вынуждены продвигаться вперед, обходя череду священных мест — площадь Павших борцов, Зал Воинской Славы и многие другие, — пока не доберутся до подножия Родины-матери.

И срезать нигде нельзя! «Курган» — тюркско-татарское слово, означающее «холм», «насыпь» или «могила»; что касается Мамаева кургана с его могилой, храмами и «священным путем», он напомнил мне великие храмовые комплексы Древней Азии. Тут, в этом степном краю, половцы — тюркское племя — обычно воздвигали над своими могильными курганами каменные статуи, так называемые «каменные бабы», которые служили как памятником мертвым, так и предупреждением расхитителям гробниц.

Я никак не мог отделаться от ощущения, что Родина-мать — символ Азии, предупреждение Западу, чтобы и не пытался пересечь Волгу, чтобы не смел и ногой ступить в самое сердце страны. Атмосфера там была зловещая, религиозная — так и подмывало на сарказм: однако толпы

людей с выражением восторга и почтения на лицах к сарказму вовсе не располагали. Я прошел за одной хромой старухой в Пантеон Славы. Носки ее стоптанных туфель были разрезаны, чтобы не так давили на мозоли. Она тащилась вперед, одетая в плащ, уцепившись за руку более молодой спутницы. Старуха постаралась придать себе вид попраздничнее, надела красный шарф с блестками. Щеки ее были покрыты спекшейся белой пудрой, по ним струились слезы. Когда она пересекала площадь Скорби, плащ ее распахнулся, открыв белую блузку, увешанную медалями.

В три часа в городском планетарии мы посмотрели фильм о битве, составленный из немецких и советских кинопленок (и украшенный грандиозными деталями). Предполагалось, что фильм будет резко антинемецким, и немцев предупредили, что слабонервным лучше не ходить. Могло быть гораздо хуже. Создатели фильма ни разу не опустились до насмешек или сатиры, а в раздирающих сердце кадрах, где расстреливали немецких пленных, чувствовалось, что авторы, по крайней мере, не превозносят победу Советского Союза, скорее, демонстрируют полную бессмысленность войны. Тем вечером, когда мы направлялись к Волго-Дону, я сидел в баре рядом

с одним из офицеров бронетанковой дивизии, который, печально созерцая двойную порцию грузинского коньяка, сказал: «Тяжелый день выдался для нас, немцев».

Путешествие подходило к концу. Когда мы вплывали в Ростов-на-Дону, стояло солнечное серебристое утро. На мелководье бригада рыбаков вытаскивала невод. В надувной резиновой лодке загорал старик. Гудели буксиры, кран разгружал ящики с океанского корабля. Вдоль набережной стояли старые кирпичные склады; за ними город уступами поднимался к собору с луковкой на холме. Вдоль набережной тянулись клумбы с сальвиями, цветом напоминающими советский флаг, ждущими, когда их прихватит первый осенний мороз. Когда мы приставали к берегу, корабельный оркестр играл ShortenináBread. Тем временем на берегу из автобуса высыпал казачий танцевальный ансамбль — все участники были не старше двенадцати лет — и устроил конкурирующее представление. Двое мальчиков держали полотнище с надписью «Дружба» на всевозможных языках, от латышского до португальского; девочки, похожие на барабанщиц в своих киверах и алых куртках, резво перебирали ногами среди кружащейся листвы. В сотне ярдов

от нас стоял памятник Максиму Горькому.

Ростов оказался городом тенистых, обсаженных деревьями проспектов, без зазрения совести отданных под частную коммерцию. Милиционеры обоего пола расхаживали по уличным рынкам с видом добродушно-снисходительным, а тем временем армяне торговались с русскими, казаки — с армянами, кошельки вспухали от рублей, а горы баклажанов, хурмы и подержанной мебели мало-помалу уменьшались. Старенькая бабушка дала мне пучок бергамота, и я ушел, нюхая его.

Кто-то указал на раскосую женщину с хозяйственной сумкой и спросил: «Откуда тут взялись вьетнамцы?» «Это не вьетнамцы, — ответил я, — это калмыки. Коренные местные жители». Калмыки живут за рекой, в своей собственной республике. Это был последний из монгольских народов, прискакавших в Европу и осевших тут. Они до сих пор поклоняются далай-ламе. У одного калмыцкого мальчика был очень колоритный вид: блестящие черные волосы разлетаются, к заднему сиденью мотоцикла привязана обезьянка.

Я отправился в музей; по пути до меня донесся запах козьего жира, поднимавшийся от маслобоек и черпаков в перестроенной казацкой хате.

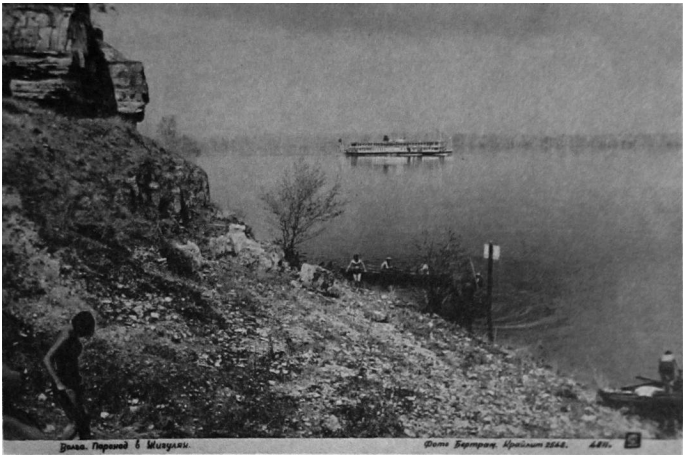
В части, посвященной 1812 году, висел портрет В. В. Орлова-Денисова, генерал-адъютанта, которого Толстой взял в качестве прототипа своего картавого персонажа в «Войне и мире». Была там и английская репродукция под названием «Лиса-Наполеон — ату его!» и со следующей стихотворной подписью:

Слышу я казацкий зов,
Знать, меня разнюхали,
Надо делать ноги разом,
А не то поймают.

Этим вечером, последним из проведенных в России, после наступления темноты я прогулялся вниз по холму, по старым купеческим кварталам, и увидел хрустальную люстру, горящую в комнате наверху. Стены были покрыты полинявшим красным плюшем, на одной висело полотно в золоченой раме с изображением гор и реки. Я стоял под уличным фонарем, пытаясь представить себе обитателя этой комнаты. На тротуаре девочки в белых носках играли в классики. Двое моряков в бескозырках, сдвинутых на затылок, вышли из тира и уселись на тротуар, выкурить напополам последнюю сигарету. Потом к окну подошла старуха в сером платке. Она посмотрела

на меня. Я помахал. Она улыбнулась, помахала в ответ и задернула штору. У подножия лестницы я миновал Максима Горького, глядевшего со своего пьедестала туда, где за тихим Доном лежали равнины Азии.

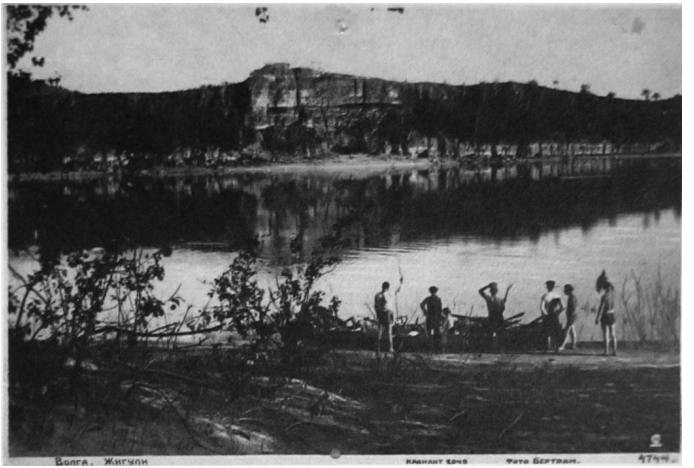


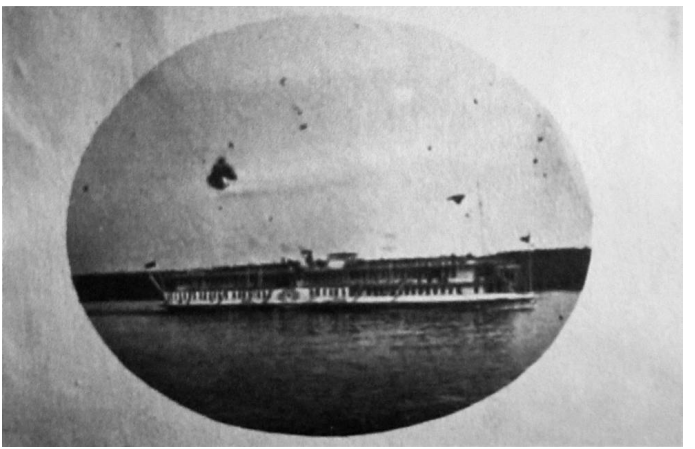




Волга. Переход в Жигулях. Фото Бертрам. Крайлит 2548. 4811.

Волга. Фото-этюд Шопомович. 4740.

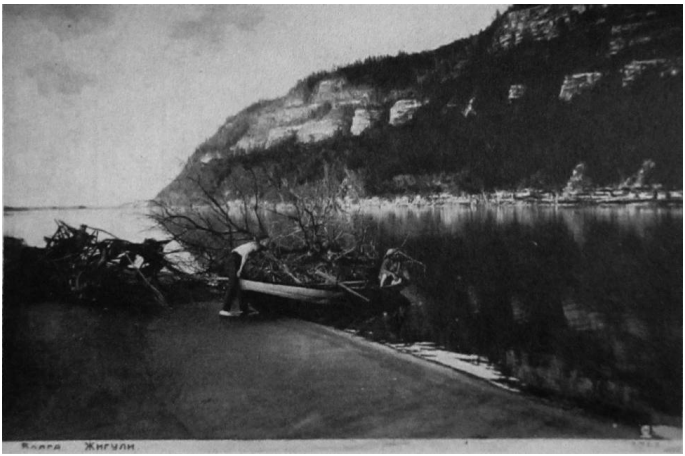

Волга. Жигули
Кранант 2045
Фото Бертрам.
4744.








Перевоз „Волгарь"
УОЛГАЛ



„Никогда я врать не буду."

Песня из фильма „Волга Волга"
Сценарий и постановка
Засл. деят. искусств —
— орденоносца
Г. В. Александрова.



Музыка композитора —
Засл. деят. искусств
— орденоносца
Н. О. Дунаевского.
Текст песни поэта-
орденоносца В. Лебедева-Кумача

Я — моряк, бывал повсюду,
Видел сотни разных рек,
Никогда я врать не буду, —
Не такой я человек!
Да, да, да, да! Я врать не буду, —
Не такой я человек!

Как то раз, я помню, едем
Мы весною по Оке,
И — представьте! — два медведя
Грузят баржу на реке!
Да, да! Представьте: два медведя
Грузят баржу на реке!

Или вот еще на Каме —
Я не вру — другие врут! —
Мы нашли в белуге камень
Под названием изумруд!
Да, да! Нашли в белуге камень
Под названием изумруд!

А на Белой как то сели
Мы на горку из камней
И не хуже карусели
Провертелись восемь дней
Да, да! Не хуже карусели
Мы вертелись восемь дней!

Я ботинок при купаньи
Уронил на чусовой
А на Волге под Казанью
Я поймал ботинок свой!
Да, да! Представьте, — под Казанью
Я поймал ботинок свой!

Мастер нужен в каждом деле!
Я на каждой на реке
Сосчитать могу все мели,
Словно пальцы на руке!
Да, да, да, да! Сочту все мели,
Словно пальцы на руке!

Я — моряк, бывал повсюду,
Видел сотни разных рек,
Никогда я врать не буду, —
Не такой я человек!
Да, да, да, да! Я врать не буду, —
Не такой я человек!

Издание „Ленгорекино"

Цена 40 к.


Услон. Водная станция



Йозеф Рот «Вниз по Волге» (1926)

Текст впервые был опубликован в серии «Библиотека Парка Горького» издательством Ad Marginem в 2013 году.
Перевод: О. Казанкова

Йозеф Рот (1894–1939) — австрийский писатель и журналист, изобличавший нацистов. Между публикациями своих основных произведений «Отель „Савой“» и «Марш Радецкого» в качестве корреспондента газеты «Франкфуртер цайтунг» совершил длительную поездку по СССР, после чего изложил свои впечатления о Советском Союзе в серии из 17 статей, в которых подверг советскую действительность критической оценке. В Казани Рот был во время туристической поездки из Нижнего Новгорода в Астрахань на пароходе. В последние годы жизни Рот много пил и страдал от жизненных неурядиц. Он скоропостижно скончался, не выдержав известий о самоубийстве близкого друга.

Волжский пароход, отправляющийся из Нижнего Новгорода в Астрахань, белый и праздничный, стоит в порту. Он похож на воскресенье. Маленький колокол отзывается неожиданно громко. Грузчики, одетые лишь в штаны на помочи, снуют по вокзалу. Они напоминают борцов. У окошка кассы — сотни людей. Десятый час утра, ясный день. Веет приветливый ветерок. Такое ощущение, будто в город приехал новый цирк.

Волжский пароход назван именем известного революционера, на нем — четыре класса для пассажиров. В первом классе едут в отпуск на Кавказ и в Крым новые буржуа России, нэпманы. Они обедают в ресторане, в скудной тени пальмы, на противоположной стене над дверью прибит портрет известного революционера. Дочки буржуа играют на бренчащем пианино. Его звучание похоже на стук металлических ложек о чайные стаканы. Отцы играют в шестьдесят шесть и ругают правительство. Мамаши явно имеют пристрастие к оранжевым шарфам. У официанта совершенно отсутствует классовое сознание. Он был официантом еще в те времена, когда пароходы называли именами великих князей. Чаевые придают его лицу выражение подобострастного почтения, которое заставляет

забыть о свершившейся революции.

Четвертый класс находится глубоко внизу. Пассажиры тащат тяжелые узлы, дешевые корзины, музыкальные инструменты и сельскохозяйственные орудия. Здесь представлены все нации, населяющие Поволжье, степи и Кавказ: чуваши, цыгане, евреи, немцы, поляки, русские, казахи, киргизы. Здесь есть католики, православные, мусульмане, ламаисты, язычники, протестанты. Здесь едут старики, отцы, матери, девушки, дети. Здесь есть крестьяне, мелкие ремесленники, странствующие музыканты, слепые корсары, коммивояжеры, малорослые чистильщики обуви и бездомные дети, «беспризорные», питающиеся воздухом и несчастьями. Люди спят на деревянных полках, расположенных в два этажа друг над другом. Они едят тыквы, кормят младенцев, стирают пеленки, заваривают чай и играют на балалайках и губных гармошках.

Днем это тесное помещение кажется постыдно шумным и лишенным достоинства. Но ночью здесь веет умиротворением. Спящие бедняки кажутся святыми. На лицах лежит печать наивности. Все лица — как открытые двери, через которые смотришь в чистые, ясные души. Неспокойные руки пытаются отогнать слепящий свет

ламп как надоедливую муху. Мужчины прячут головы в волосах женщин, крестьяне обнимают свои священные косы, дети — потрепанных кукол. Лампы раскачиваются в такт громко работающим машинам. Краснощекие девушки обнажают в улыбке крепкие белые зубы. Мир царит над беднотой, спящие люди кажутся исключительно миролюбивыми существами.

Пассажиры волжского парохода не делятся на богатых и бедных так примитивно символически, как верх и низ. Среди пассажиров четвертого класса есть зажиточные крестьяне, среди пассажиров первого далеко не все — богатые торговцы. Русский крестьянин предпочитает ехать в четвертом. Не только потому, что здесь дешевле. Крестьянину здесь привычнее. Революция освободила его от почтения к «господам», но отнюдь не от почтения к предмету. В ресторане, где стоит плохое пианино, крестьянин не сможет съесть с удовольствием свою тыкву. Какое-то время все ездили во всех классах. Потом разделились, практически добровольно.

— Видите, что дала людям революция? — сказал мне пассажир-американец. — Бедные теснятся внизу, а богатые играют в шестьдесят шесть!

— Но ведь это же единственное занятие, которо-

му они могут предаваться беззаботно! — ответил я. — Самый бедный чистильщик обуви в четвертом классе думает сегодня, что сможет подняться к нам, если захочет. А вот богатые нэпманы боятся, что он может в любой момент прийти. «Верх» и «низ» на нашем пароходе уже давно не символические, а чисто практические величины. Может быть, когда-нибудь они вновь станут символическими.

— Да, станут, — сказал американец.

Небо над Волгой — низкое и плоское, раскрашенное неподвижными облаками. По обеим сторонам берега, на широком просторе, видно каждое возвышающееся дерево, каждую взлетающую птицу, каждое пасущееся животное. Лес кажется здесь искусственным образованием. Всё стремится расшириться, рассеяться по поверхности. Деревни, города и народы располагаются далеко друг от друга. Подворья, хижины, палатки кочевников окружены одиночеством. Многочисленные народности не смешиваются между собой. Даже те, которые осели, всю жизнь продолжают странствовать. Эта земля дарит чувство свободы, какое у нас могут дать только вода или воздух. Если бы птицы могли странствовать по земле, они бы не захотели здесь летать. А вот

человек передвигается по земле, как по небу, быстро и бесцельно, птица земли.

Река, как и земля, широкая, бесконечно длинная (от Нижнего Новгорода до Астрахани — более двух тысяч километров) и очень медленная. По берегам достаточно поздно появляются низкие кубики — «волжские холмы». Своим голым скалистым нутром они повернуты к реке. Здесь они только ради разнообразия, их создал минутный каприз бога. За ними вновь тянется равнина, горизонт отодвигается всё дальше и дальше в степь.

Мощное дыхание степи долетает до холмов, до реки. Вкушаешь горечь бесконечности. Глядя на огромные горы и безграничные воды, человек чувствует себя потерянным и незащищенным. А при виде бесконечной равнины человек ощущает себя потерянным, но в то же время утешенным. Он не больше, чем соломинка, но он не пойдет ко дну: он как ребенок, проснувшийся ранним летним утром, пока все еще спят. Он потерян и одновременно окутан безграничной тишиной. В жужжании мухи, в глухих ударах маятника — та же убаюкивающая, неземная и вневременная печаль широкой равнины.

Мы останавливаемся у деревень, дома в них —

из дерева и глины, крытые черепицей и соломой. Иногда посреди детей-хижин покоится широкий, по-матерински добрый церковный купол. Порой церковь располагается в конце длинного ряда хижин, ее венчает острая, длинная башня, напоминающая четырехугольный французский байонет. Это — вооруженная церковь, предводитель странствующей деревни.

Казань, татарская столица, открывается нашему взгляду. На берегу шумят пестрые торговые палатки. Город приветливо машет открытыми окнами, как стеклянными флагами. Слышен стук повозок. Видны зеленые и золотые купола, мерцающие в вечернем свете.

Из гавани в город ведет немощеная улица. Она превратилась в реку: вчера шел дождь. В городе тихо плещутся озерки. Кое-где проглядывают остатки мостовой. Названия улиц и магазинов невозможно прочесть, забрызганы грязью. Кстати, их и без того бывает не разобрать: некоторые написаны тюркско-татарским шрифтом. Поэтому татары предпочитают лично сидеть перед лавками и перечислять прохожим свои товары. Говорят, они хорошие торговцы. На подбородке у них черные кисточки. После революции традиционная для этих мест неграмотность уменьшилась

на 25 процентов. Теперь многие умеют читать и писать. В книжных магазинах лежат издания на татарском языке, мальчишки-газетчики выкрикивают названия татарских газет. Татарские служащие выглядывают из почтовых окошек. Сотрудник почты объяснил мне, что татары — самый смелый народ. «Только они перемешаны с финнами», — злобно ответил я. Служащий обиделся. За исключением рестораторов и торговцев все довольны правительством. Татарские крестьяне сражались во время гражданской войны то за красных, то за белых. Порой не зная, за что именно сражаются. Сегодня все деревни Казанской губернии политизированы. Молодежь охвачена комсомольскими организациями. Как и для большинства мусульманских народов России, религия для татар — скорее упражнение, чем вера. Революция разрушила привычку, а не подавила потребность. Бедные крестьяне здесь довольны, как во всех поволжских губерниях. Богатые крестьяне, которые многого лишились, недовольны, как и в других местах, как немцы в Покровске, как крестьяне в Сталинграде и в Саратове.

Кстати, поволжские деревни — за исключением немецких — поставляют партии самых верных

молодых приверженцев. На Волге села больше, чем город, охвачены политическим энтузиазмом. Многие местные деревни были очень далеки от культуры. Чуваши, например, еще и сегодня тайные язычники. Они молятся идолам и приносят им жертвы. Для наивного естественного человека из поволжской деревни коммунизм означает цивилизацию. Для молодого чуваша городская казарма Красной армии — дворец, а дворец, куда он теперь получил доступ, — это семисотое небо. Электричество, газеты, радио, книги, чернила, печатные машинки, кино, театр, — словом, всё, что нас так утомляет, живит и обновляет примитивного человека. Всё это сделала «партия». Она не только свергла больших господ, она изобрела телефон и алфавит. Она научила людей гордиться своим народом, своей незначительностью, своей бедностью. Она превратила их низкое происхождение в заслугу. Перед таким ошеломляющим великолепием умолкает врожденная крестьянская недоверчивость. Сознательное критическое осмысление еще не началось. Так крестьянин становится фанатиком новой веры. Крестьянину пока недостает «чувства коллективизма», он восполняет его вдвойне и втройне экстазом.

Города на Волге — самые печальные из всех,

какие я когда-либо видел. Они напоминают мне французские города, разрушенные во время военных действий. Эти дома горели в гражданской войне красных; а потом по их руинам галопировал голод белых.

Сотни раз, тысячи раз умирали люди. Они ели кошек, собак, ворон, крыс и околевших от голода детей. Они прокусывали руки и пили собственную кровь. Они рыли землю в поиски жирных дождевых червей и извести, казавшейся сыром. Два часа спустя они умирали в муки. Удивительно, что эти города вообще еще живы! Что люди торгуются, носят чемоданы, продают яблоки, зачинают и рожают детей! Уже подрастает поколение, которое не знает былого ужаса, уже стоят строительные леса, уже столяры и каменщики заняты сооружением нового.

Я не удивляюсь, что эти города кажутся красивыми только с высоты или издалека; что в Самаре дорогу в отель мне преградил козел; что в Сталинграде мою комнату затопило во время ливня; что салфетки здесь из цветной упаковочной бумаги. Если бы можно было гулять по прекрасным крышам вместо вздыбившейся мостовой!

Во всех городах Поволжья люди производят одинаковое впечатление. Торговцы везде недо-

вольны, рабочие, хоть и устали, настроены оптимистично, официанты уважительны и ненадежны, портье смиренны, чистильщики обуви подобострастны. А молодежь везде увлечена революцией: в пионерской и комсомольской организациях состоит, в том числе, и половина буржуазной молодежи.

Кстати, отношение ко мне меняется в зависимости от того, как я одет. Если я надеваю сапоги и отказываюсь от галстука, жизнь вдруг становится сказочно дешевой. Фрукты стоят несколько копеек, поездка на извозчике — полрубля, меня принимают за политического беженца, живущего в России, обращаются ко мне «товарищ», официанты становятся революционно-сознательными и не ждут чаевых, чистильщики обуви удовлетворяются десятью копейками, торговцы довольны своим положением, на почте крестьяне просят меня написать адрес на конверте «красивым почерком». Но стоит мне надеть галстук, всё сразу дорожает! Ко мне обращаются «гражданин» и даже осторожно — «господин». Немецкие нищие называют меня «господин земляк». Торговцы начинают жаловаться на налоги. Извозчик рассчитывает на рубль. Официант в ресторане рассказывает, что он закончил торговую акаде-

мию и, «собственно, много чему научился». И доказывает это, обсчитав меня на двадцать копеек. Антисемит признается мне, что от революции выиграли только евреи. Им теперь разрешили жить «даже в Москве». Какой-то мужчина хочет мне понравиться: рассказывает, что в войну был офицером и в Магдебурге попал в плен. Нэпман грозит: «Вам у нас всего не покажут!»

Между тем мне кажется, что я смогу увидеть в России столь же много и столь же мало, как в других странах. Еще ни в одной стране незнакомые люди не приглашали меня в гости так искренне, не сомневаясь. Я могу посещать государственные учреждения, суды, больницы, школы, казармы, тюрьмы, начальников милиции и университетских профессоров. Буржуа критикует громче и острее, чем то удобно иностранцу. Я могу говорить с солдатами и командирами Красной армии в любом трактире о войне, о пацифизме, о литературе и оружии. В других странах это опаснее. Тайная полиция, должно быть, настолько хороша, что я ее не замечаю.

Знаменитые волжские бурлаки всё еще поют свои знаменитые песни. В русских кабаре на Западе «бурлаки» выступают в свете фиолетовых огней под приглушенные звуки скрипок. Однако

настоящие бурлаки гораздо печальнее, чем думают те, кто их изображает. И даже несмотря на то, что на них такой груз традиционной романтики, их пение проникает в душу, глубоко и больно ранит.

Возможно, они самые сильные мужчины нашей эпохи. Каждый из них может нести на спине двести сорок килограмм, поднимать с земли сто килограмм, раздавить орех указательным и средним пальцами, балансировать веслом на двух пальцах, съесть три тыквы за сорок пять минут. Они похожи на бронзовые памятники, которые обтянули человеческой кожей и прикрыли одеждой. Они зарабатывают сравнительно много, в среднем четыре-шесть рублей. Они сильны, здоровы, они живут свободно. Но я ни разу не видел, чтобы они смеялись. Они не бывают радостными. Они пьют водку. Алкоголь уничтожает этих великанов. С тех пор, как по Волге перевозятся грузы, здесь живут самые сильные носильщики, и все пьют. Сегодня по Волге ходят более 200 пароходов мощностью в 85.000 лошадиных сил общим водоизмещением 50.000 тонн, 1190 грузовых судов без двигателя общим водоизмещением почти два миллиона тонн.

Но рабочие по-прежнему заменяют краны,

как двести лет назад. Их пение рождается не в гортани, оно идет из затаенных уголков сердца, вероятно, там пение и судьба сплетаются воедино. Они поют, как приговоренные к смерти. Они поют, как каторжники на галерах. Никогда не освободиться певцу от своего каната, и от водки тоже никогда. Какое же это благословение — работа! Какой же кран — человек!

Редко можно услышать песню целиком, всегда только отдельные строфы, пару тактов. Музыка — это вспомогательное механическое средство, она действует как рычаг. Есть песни, которые поют, когда совместно ткнут канат, при подъеме, при разгрузке, при медленном опускании. Тексты песен стары и примитивны. Я слышал разные тексты на одни и те же мелодии. Они рассказывают о тяжелой жизни, о легкой смерти, о тысяче пудов, о девушках и о любви. Как только груз поместили на спину, песня обрывается. Тогда человек превращается в кран.

Больше невозможно слушать дребезжание пианино и смотреть, как играют в шестьдесят шесть. Я покидаю пароход. Я сижу на крошечном корабле. Два носильщика рядом со мной сладко спят на толстом свернутом канате. Через четыре-пять дней мы будем в Астрахани. Капитан отправил

свою жену спать. Он сам себе команда. Сейчас он жарит шашлык. Наверное, шашлык будет жирным и жестким, и мне придется его есть.

Перед тем как я покинул пароход, американец очертил указательным пальцем большую дугу, указал на известь и глину, на песчаный берег и произнес:

— Сколько драгоценного материала пропадает! Какой был бы пляж для отдыхающих и больных! Какой песок! Если бы всё это вместе с Волгой находилось в цивилизованном мире!

— Если бы всё это находилось в цивилизованном мире, здесь бы дымили фабрики, трещали моторные лодки, поворачивались черные краны, люди бы начали болеть, а потом, двумя милями дальше, отдыхать на песке, и это уж точно была бы не пустыня. На определенном, с гигиенической точки зрения безукоризненном отдалении от кранов были бы разбросаны рестораны и кафе с хорошо озонированными террасами. Музыканты исполняли бы «Песню о Волге» и бойкий чарльстон «Волжские волны» на слова Артура Ребнера и Фрица Грюнбаума…

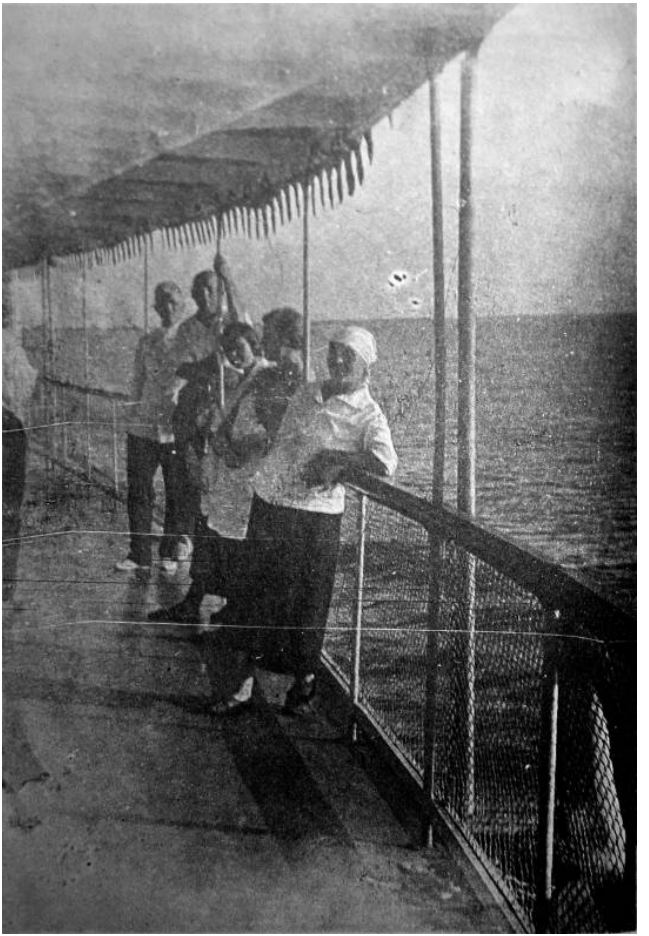
— О, чарльстон! — обрадовался американец.

Франкфуртер цайтунг, 05.10.1926

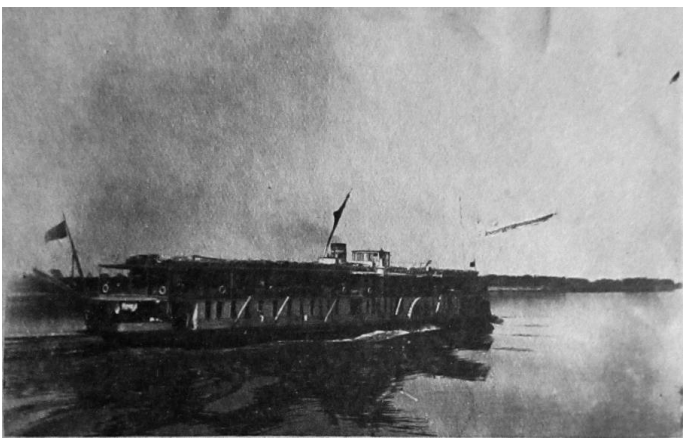

ЯРОСЛАВЛЬ. РЕМОНТ ЛОДКИ



















Хеннинг Кейлер «Красный сад» (1919)

Текст впервые был опубликован в книге «Красный сад. Приключения в Советской России» издательством Государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника «Остров-град Свияжск» в 2011 году. Перевод Е. Шевченко

Хеннинг Кейлер (1891–1979) — атташе датской дипломатической миссии, путешествовавший в 1917–1919 годах по России с целью оказания помощи австро-венгерским военнопленным. Легенда об установке Львом Троцким памятника Иуде Искариоту в Свияжске опирается на беллетризованные воспоминания Кейлера, однако многие казанские краеведы опровергают существование такого монумента в Татарии. В Дании Кейлера помнят как драматурга, литературного критика и переводчика Честертона и

Уайлда.

Это было весной 1918-го. С трех часов утра я расхаживал взад-вперед по вокзалу Алатыря и ждал. Но поезда на Казань всё не было. В зале ожидания, где храпели крестьяне и солдаты, нечем было дышать. Я бы мог остаться в гостинице и выспаться, но она располагалась в центре города, а город, как водится, находился не ближе пяти верст от вокзала, так что поезд успел бы раз десять прийти и уйти, прежде чем мне дали бы знать. Нет, мне не оставалось ничего, как только ждать, слегка подремывая на своем чемодане, прислонившись к вокзальной стене или подперев голову руками, есть суп или пить чай в буфете, когда предоставлялась возможность, и курить одну сигарету за другой.

Позже, в первой половине дня, с севера пришел бронепоезд. Это было маленькое развлечение, в котором я не мог себе отказать. Его команда представляла собой редкую коллекцию человеческих отбросов: сбежавших каторжников с плоскими дегенеративными черепами и видавших виды мальчишек школьного возраста, чьи бледные черты свидетельствовали о душевном одичании и ранней психической патологии. В остальном

это был внушительный поезд — первосортный товар Антанты. Впереди броневая башня со скорострельной пушкой во вращающемся куполе и черными щелями в боковых стенках, из глубины которых блестела желтая медь пулеметных стволов. За башней — гигантский паровоз такого же серого цвета, бронированный до самых рельсов, который органично соединялся с длинным коридором, предназначенным для пулеметчиков, достаточно большим, чтобы во время боя вместить весь экипаж бронепоезда. Оставшаяся часть состава представляла собой три узких, элегантных пульмановских вагона, четыре теплушки с амуницией и багажом, и в конце находилась плоская багажная платформа, на которой стояли автомобиль и самолет.

После обеда, часа в три-четыре, вокруг поезда началась суета: состав готовился к отправлению. Поезд шел в нужном мне направлении, и я поинтересовался у служащего вокзала, нельзя ли мне воспользоваться этой оказией. «Зачем Вам связываться с красным сбродом?» — сказал он, увидев и услышав, что я иностранец. «Разве что Вы желаете отправиться прямо в преисподнюю. Кажется, мы наконец-то избавимся от этой чумы. Чехи подходят. Меньше чем в ста верстах отсюда

идут бои. А с этими типами всё ясно! Они доставили сюда в лазарет семнадцать раненых, и знаете, с какими ранами? Свиньи, скажу я Вам, пусть тысячу раз будут прокляты эти свиньи! Впрочем, вон там стоит командир, если Вам что-то от него нужно».

Командиром поезда оказался матрос балтийского флота. Он стоял на лестнице, спущенной с паровоза, и разговаривал с машинистом. Я отважился прервать разговор, предъявив свой билет и сказав, что-де официальному дипломатическому лицу тяжко терять свое драгоценное время на чертовски скучном вокзале. Матрос вошел в мое положение. Он был поразительно красивым малым с обезоруживающей улыбкой. В нем не было ничего отталкивающего. С голубыми глазами на загорелом бесстрашном лице, благородным носом и мягкими кудрявыми волосами он в точности соответствовал описанию героев в детских книжках. Его улыбка обнажила ряд великолепных зубов, когда он предложил мне занять место в первом вагоне и сослаться на него, если у караульных возникнут возражения. Он обещал прийти следом и сообщил, что отправление поезда через десять минут.

Таким образом я очутился в первом вагоне.

Караула не было, и дверь в коридор оказалась открытой. Первое помещение представляло собой кухню. На столе стояли самовар и керосинка. На полу лежала гора белого хлеба, стояла наполовину пустая бочка с маслом и множество коробок из-под печенья, заполненных сахаром. Сахар в то время раздобыть было почти невозможно. У меня оставался маленький запас на дне походной фляжки, который я теперь не замедлил пополнить.

В соседнем купе, видимо, жило несколько членов команды, но пока их на месте не было. На полу и мягких полках валялись игральные карты, сброшенная одежда, жестяные банки, патроны и семечки. Сетки для багажа были забиты винтовками, саблями, револьверами, ручными гранатами и военной амуницией из кожи, от ремней и патронташей до сапог и седел. В дальнем купе полки на одной стороне были опущены и стена сверху донизу покрыта генштабовской картой Поволжья. Видимо, это было купе командира. Там я и устроился, разместил свою сумку, в которой было несколько сотен тысяч рублей, под спальной полкой, расчистил место и уселся на своем плаще в ожидании того, что должно было произойти.

На откидном столике у окна стояла пишущая машинка, видно, замершая посреди диктовки. Там также лежали бумаги, телеграммы и прочее, но не шпион же я. Правда, я не удержался и изучил карту, дабы по возможности получить представление о размахе чехословацкого восстания. Но, к сожалению, она не содержала стратегических комментариев. Потом я обследовал браунинг и пистолет и обнаружил, что они заряжены до отказа. Наконец, я добрался до библиотеки, состоявшей из тома избранных романов Жюля Верна (в русском переводе) и скверного качества книжки, повествующей о самом знаменитом в истории убийстве. Титульный лист изображал репродукцию казни Людовика XVI. Кровь алым потоком текла по черной типографской краске.

Прошло десять, а потом двадцать минут, а я все еще оставался в купе один. Постепенно меня начал одолевать сон. Но тут меня разбудил звук женского голоса, раздававшийся из соседнего купе, последнего в этом ряду и единственного, которое я не обследовал. Вскоре я закурил сигарету и вышел в коридор.

Дверь была приоткрыта, и картина, представшая перед моим взором, крайне меня озадачила: купе было снизу доверху обшито шелком, в свою

очередь, завешенным портретами военных и другими фотографическими изображениями, выполненными в интернациональном жанре nu artistique. На диване лежало смятое стеганое одеяло небесно-голубого цвета, а на полу был расстелен натуральный ковер, здорово нуждавшийся в мощном пылесосе. У окна перед туалетным зеркалом, повернувшись спиной к двери, сидело существо женского пола в прозрачной шелковой пижаме некогда розового цвета и отороченных лебяжьим пухом тапочках. Оно собиралось с помощью кисточки и карандаша заняться интимным искусством, к которому прибегают женщины во всём мире в надежде подновить свои естественные прелести и сделать их более рафинированными. Но что больше всего поразило мой взор в этом необычном будуаре на рельсах, так это богатая коллекция пузырьков, флаконов и колб, баночек, коробок и кувшинов, рассредоточенных по всему помещению, повсюду, где только находился свободный уголок. Даже по приблизительным подсчетам, здесь имелись и самые дорогие парижские эссенции, и самые отвратительные московские духи, рисовая пудра и помада, квасцы и золотистые кремы, помады, грим, вазелин, сублиматы и другие, еще более

таинственные чудодейственные антисептические средства.

Хозяйка купе перестала напевать и подвергла результат своей работы критической оценке. Вероятно, она заметила мою тень, потому что внезапно обернулась, но, увидев, что я полностью поглощен происходящим на перроне, на цыпочках подошла к двери и задвинула ее, не преминув, однако, предварительно изучить мою иноземную внешность. На секунду я поймал взгляд ее черных глаз, вызвав в них улыбку; я увидел, что она была коротко пострижена под пажа и что ей было не больше семнадцати.

Я снова сел в купе командира, и вскоре она заглянула ко мне. Теперь она была изрядно напудрена и одета в короткое белое платье, белые чулки и белые туфли. Я поднялся, поклонился и назвал свое имя. Она совершенно не удивилась моему пребыванию на борту большевицкого бронепоезда, а только любезно спросила, комфортно ли я себя чувствую. Потом она предложила вместе выпить чаю. Я с удовольствием согласился и последовал за ней в первое помещение, чтобы помочь нарезать хлеб и поставить самовар.

После того как мы принесли всё это в купе и освободили откидной столик от пишущей ма-

шинки и бумаг, вошел матрос и порадовался тому, как быстро я освоился в поезде и, несмотря на свой неважный русский, нашел общий язык с Долли Михайловной, бесценным членом команды, сестрой милосердия, а, когда надо, врачом и экономкой, в случае же опасности — солдатом, умеющим обращаться с пулеметом так же ловко, как с револьвером.

Несколько часов спустя мы на хорошей скорости уже ехали в южном направлении. Матрос поведал мне, что его поезд получил вызов из Сызрани. Чехи покинули Пензу, зато заняли Самару и, наверное, много других городов. Связь между Сибирью и Туркестаном прервана. Он не мог мне сказать, пал ли Симбирск, в котором находилась моя делегация, но подозревал, что да. Положение было не из лучших. «Да и что можно сделать с такими людьми». — сказал он и показал рукой на команду, которая от скуки развлекалась потасовками в коридоре и купе. «Дисциплины в армии пока нет». — добавил он, — «вообще-то я жалею, что оставил флот. В старые времена мы стояли под Ревелем. Долли была певицей, большой звездой. Все офицеры за ней увивались. Ну, теперь они далеко, и жалеть нечего. В полку нравы те еще. Только бы уже прекратилась вражда. Мне

не доставляет удовольствия разъезжать на этом поезде в компании олухов, готовых сбежать при первом же выстреле. К тому же это их вечное свинство… Ни себя, ни других не уважают».

Вечером наш поезд остановился на маленькой лесной станции. Уже начинало темнеть. Я лег в мягкую траву рядом с рельсами и смотрел, как солдаты по-детски задирались и мутузили друг друга, правда, походили они при этом скорее не на детей, а на идиотов. Долли Михайловна тоже вышла, чтобы насладиться вечерним воздухом. В подоле юбки она вынесла двух кроликов: одного белого как снег, с красными глазами, другого — черного с голубыми. Она легла рядом со мной в траву и выпустила животных из рук. Они тут же стали щипать и жевать траву, прыгая туда-сюда на свой забавный манер, откидывая назад уши и сохраняя серьезное выражение мордочек. Солдаты, увидев их, подбежали, наперебой стараясь погладить и взять на руки. Но вскоре им это надоело, и они повытаскивали свои револьверы, стали целиться в кроликов и, осклабясь, спрашивать Долли Михайловну, верит ли она в то, что они попадут в цель. Та разозлилась, пообещав, что отнимет жизнь за жизнь. Тогда они оставили животных в покое и вместо этого стали целиться

в нас и друг в друга, дико вопя и жестикулируя, и время от времени паля в воздух. Когда стемнело, по приказу Долли Михайловны они натаскали хвороста. Долли унесла кроликов и вернулась со сковородой, маслом и мукой. Она опустилась на колени рядом с костром, дым от которого сквозь тишину вечера поднимался ввысь, а трескучее пламя живописно освещало нашу маленькую группу. Контуры пышного юного тела Долли в отсветах огня проступали сквозь ее тонкое платье. Несмотря на едкий дым и неудобное положение, она мужественно пекла блины до тех пор, пока все не насытились. После этого мы еще некоторое время лежали у затухающего костра, курили сигареты и болтали под нестройные звуки балалайки.

Ночью мы поехали дальше и около шести утра прибыли в Свиягород. Я спал на полке матроса под русской офицерской шинелью. Себе он поставил раскладушку под картой. Впрочем, часть ночи его в купе не было. Хотя я проснулся в момент остановки поезда, заставить себя встать не смог. Когда же около девяти вышел на перрон, чтобы помыться, то застал там большинство солдат, брызгавшихся под краном с разнузданными криками. Подержав голову под холодной струей,

я взял на вокзале горячей воды, чтобы побриться. Мой хозяин тоже прихорашивался. Он собирался отправиться в Свиягород и нанести визит местному начальству.

Только около полудня, когда автомобиль спустили с платформы, мы смогли выехать. Долли Михайловна сегодня появилась в облачении сестры милосердия, из-под которого, впрочем, виднелись совсем не сестринские одежки. Было страшно жарко. Она повязала голову платком. При резком солнечном свете ее лицо, несмотря на юность, показалось смертельно опустошенным, точно лунный ландшафт. Белая как мел пудра не могла полностью замаскировать выступавшую то здесь, то там сыпь. Но она была весела точно сорока, ее смех был глубоким, как кашель, и резким, как звук точильного камня, а тело ее напоминало столбик ртути или животное, притаившееся под тонкой одеждой. Когда мы сели в машину — матрос за руль, Долли и я на заднее сиденье, — та и не думала заводиться. Из-под капота вырвалось вонючее облачко, а мотор стрелял, точно автомат. Потребовалось еще полчаса, чтобы машина тронулась с места. Мы быстро запрыгнули внутрь, чтобы не остаться за бортом, и наконец помчались по дороге на пределе всех

лошадиных сил, а матросы при этом стояли на подножках.

Свиягород не мог предложить никаких достопримечательностей. Он расстилался под палящим солнцем, как щупальца, распуская во все стороны сонные улицы. Деревянные особняки с закрытыми зелеными ставнями покоились посреди запущенных садов. Время от времени мы проносились мимо домов с широко распахнутыми дверями и окнами, сквозь которые можно было видеть пыльные останки домашнего очага; горькая атмосфера покинутости вызывала в сердце короткие приступы грусти. Мы проехали мимо белой церкви, а затем пересекли базарную площадь. Была суббота, базарный день, но на площади стояло только несколько крестьянских повозок. Зато здесь бродило множество австро-венгерских военнопленных, пожиравших глазами товары из-за долгого вынужденного воздержания. Несмотря на лохмотья, на выклянченную русскую одежду, их легко было узнать по остаткам синих мундиров, а порой только по головному убору, пережившему войну, плен и годы скитаний. Большинство же из них можно было опознать лишь по чертам лица, которые не спутаешь ни с русскими, ни с татарскими.

Совет Свиягорода располагался в здании городской думы на базарной площади. Когда наш автомобиль въехал под арку, караул немедленно схватился за оружие и стал в состоянии боевой готовности у пулемета в фойе здания. В те времена можно было ожидать чего угодно! Кстати, это были венгры, элита красной армии. Президент местного Совета и комендант города — он объединял в одном лице эти две должности — оказался красным евреем, у которого был какой то псевдоним, теперь не вспомню. Возраста он был неопределенного. Иногда он казался молодым человеком с преждевременно осунувшимися чертами, а иногда походил на старика, которому какая-то болезнь придавала налет фальшивой юности. Его редкие, коротко остриженные волосы обнажали залысины по всей голове. Особенно странными были его глаза. У него не было взгляда в обычном понимании, зато глаза его по временам вспыхивали и, казалось, излучали красный свет. Он производил впечатление незаурядного, одаренного человека, правда, не совсем нормального.

Увидев меня, он осекся, но ситуация еще ухудшилась, когда он просмотрел мои бумаги и узнал, чего я хотел. Всё его тело содрогнулось от плохо

сдерживаемого гнева и, скрипя зубами, как разозленный деспот, он сообщил мне, что не признает европейские буржуазные правительства. Они для него пустое место. И вообще, военнопленных, которыми я интересовался, больше нет. Он не тюремщик капитализма. В России каждый, кто хочет, может стать свободным гражданином и не нуждается в том, чтобы его кормили иллюзией буржуазной филантропии!

На этом он повернулся ко мне спиной и любезно обратился к Долли Михайловне. Позже он сменил гнев на милость, подчеркнув, что друзья Долли Михайловны — это и его друзья. Он пригласил меня на обед и, кроме того, настоял на моем участии в большом коммунистическом празднике, который должен был состояться в воскресенье. Большой народный парк «Красный сад» будет при этом передан благодарному населению. С сатанинской улыбкой он добавил, что почтет за честь отбить у капиталистической дипломатии такого перспективного юношу, как я. «Вы — наш, в Вашем взгляде я читаю, что Вы лишены предрассудков. Вы просто никогда не ощущали в себе истины. Вас никогда не захватывала идея человеческого братства. Но она должна расцвести в Вашем юном сердце». Он посмотрел

на меня странным взглядом, схватил за руку и, приблизив рот к моему уху, прошептал: «Вам я хочу доверить эту тайну. Истина — во мне. Я — вновь пришедший Спаситель нового времени. Я…» Внезапно он провел рукой по лбу, улыбнулся и пришел в себя. «Жарко», — сказал он без всякого перехода и больше не произнес ни одного неразумного слова.

После обеда, безалкогольного и скромного, при этом вкусно приготовленного венским поваром, я отправился на прогулку по городу, в то время как остальные поехали в казарму, расположенную за городом, чтобы сделать кое-какие приготовления к завтрашнему большому военному параду. Он должен был состояться, с одной стороны, в честь праздника, с другой (насколько я понял) — приобретал особое значение ввиду опасности со стороны приближавшихся с каждым днем чехов. Я побывал наряду с прочим и на базарной площади и беседовал со многими бородатыми военнопленными. Они еще ни разу ни одного делегата в глаза не видели и по праву не ждали чудес от предстоящего. Я расспросил их об условиях их жизни, купил и раздал им несколько пачек махорки. Больше всего они жаловались на своих младших товарищей, которые перешли на сторо-

ну красной армии и мучили их до смерти, чтобы и они последовали за ними. «Там и кормят сытно», — рассказывали они, — «форма, чай, сахар и 300 рублей в месяц, а если кого на фронт послать захотят, то можно и деру дать. Неделю назад тут полк из Тамбова проходил. Так по дороге 200 человек дезертировало, а оставшиеся только удобного случая и ждали. Да нет, это не опасно, и всё же как знать… А дома жена и ребенок, и хозяйство! Лучше уж потерпеть еще немного». Я поддержал их в их добрых намерениях. О русских они не говорили ничего дурного. Большинство из них, конечно, сумасшедшие, но люди неплохие, скорее равнодушные. И беспорядок повсюду ужасный. В лагере прекратилось снабжение продовольствием, но покидать его при этом нельзя! Одежды не давали никакой, а заработать мог только тот, кто владел каким-нибудь ремеслом. Однако хуже всего при правлении комиссаров было то, что военнопленных использовали на всевозможных работах, которые русские выполнять не хотели. Они должны были чистить конюшни, содержать в порядке казармы и лазареты, а недавно военнопленным поручили выполнять все земляные работы в новом коммунистическом саду, и это под палящим солнцем, и получали они за это

один лишь сухой хлеб. «Хорошенькая свобода, не правда ли? Эти проходимцы могут, сколько хотят, называть себя пролетариями, большевиками, коммунистами и интернационалистами, от русской лени и страсти к воровству им не избавиться».

Я покинул военнопленных в возбужденном состоянии, их справедливый гнев передался и мне. С этими людьми из Кернтена, Тироля и Зальцбурга я говорил как со своими. Мой старый прадедушка, тоже крестьянин, так же как и они, курил бы трубку и ругал угнетателей, доведись ему попасть в русский плен.

Вечером вместе с матросом я вернулся на вокзал. Долли Михайловны с нами не было. Она осталась ночевать в городе.

До того как мы на следующий день отправились в путь, Долли Михайловна явилась в автомобиле местного Совета, чтобы переодеться. Она должна была принять участие в параде с командой бронепоезда. Матрос и я поехали на завтрак в Совет.

В три часа должен был начаться парад. Комиссары и штабные стояли, взобравшись на аркады, и салютовали красными флагами. Все были одеты очень воинственно, экипированы большим количеством оружия, планшетов и биноклей,

но никто не мог соперничать с комендантом, который, несмотря на жару, водрузил на голову серый стальной шлем с красной пятиконечной звездой. На нем были высокие лакированные сапоги со шпорами, начищенная до блеска сабля, что в России казалось украшением иноземным, фантастическим, а на правом рукаве у него красовался известный знак ударной группы — белый серебряный череп с двумя скрещенными костями на красном фоне. Рядом с ним сидел матрос в своей простой морской форме с развевающимися черно-оранжевыми ленточками бескозырки, и вид его не говорил в пользу военной мощи.

Чтобы не провоцировать военнопленных и не произвести ложного впечатления на красноармейцев, я занял место в тени аркад. Здесь выстроились и члены оркестра австрийских военнопленных, которые должны были играть на параде, а позже на празднике. От них не требовали, чтобы они маршировали со своими инструментами на солнце. Искусство ощутимо повысило их статус, ведь, по молчаливому признанию начальства, успех праздника в значительной степени зависел от их музыки и от их доброй воли.

Парад тем временем начался. Нельзя сказать,

чтобы он утомил нас своей продолжительностью. Участвовали в нем два полка по 200 человек. Люди шли вразнобой. Многие из них были военнопленными, в основном венграми и немцами. Их легко было выделить среди русских красноармейцев, из которых лишь немногие побывали солдатами на фронте, по военной выправке, которую они вольно или невольно начинали демонстрировать, как только им давали в руки оружие. За пехотой следовали пулеметчики, полторы дюжины мужчин на маленьких коричневых лошадях. Полевая пушка, которую тянули лошади, представляла тяжелую артиллерию.

Завершала парад команда бронепоезда с красным флагом, на котором золотыми буквами было написано «Бронепоезд „Карл Маркс“». За ним шла Долли Михайловна. Облаченная в летный шлем, белую шелковую матросскую блузу, с красной лентой, револьверной кобурой на поясе, в бриджах цвета хаки и высоких желтых сапогах, зашнурованных до колен, она выглядела потрясающе. Проходя мимо аркад, она салютовала саблей и улыбкой.

Во время парада мы стояли навытяжку с обнаженными головами, а музыканты между тем поочередно играли то Марсельезу, то почетный

марш Первого Венского полка. Позднее и мы проследовали маршем во главе с военным оркестром, а к нам, в свою очередь, присоединились местные члены коммунистической партии, мужчины, женщины и дети. Белая от пыли дорога, казалось, вела прямо к солнцу.

Сад, впрочем, оказался недалеко от центра города. До национализации он принадлежал князю Гагарину и всё еще таил в себе слабое напоминание о французском садовом искусстве. Чтобы превратить его в народный, здесь были проведены обширные произвольные преобразования. Во-первых, была выстрижена вся центральная часть, чтобы освободить место для эстрады под оркестр. Здесь же была возведена статуя, открытие которой планировалось провести во время праздника. Она стояла посреди одной из продольных аллей, закутанная в покрывало из грубого солдатского сукна, на фоне черных кипарисов и туй. Справа от нее была сооружена трибуна, обитая красным.

Как только мы прибыли в сад, колонна сразу же разбрелась. Солдаты составили ружья пирамидами, а ручные гранаты положили на траву. Нам, гостям, были приготовлены места прямо под трибуной. На базарной площади было совсем

немного зрителей, а здесь, как оказалось, всё же собралась часть гражданского населения города, в основном молодые девушки, которым не хотелось похоронить свою юность дома. Ведь в маленьких городах так мало развлечений, а нынче еще меньше, чем вчера. Так что такого, если мы просто пойдем поглядеть, что там красные опять придумали.

Теперь оркестр играл «На прекрасном голубом Дунае». Потом комендант взобрался на красную трибуну, снял с головы шлем и водрузил его перед собой. Лицо его было покрыто каплями пота, впрочем, как и у нас всех, но при этом он был очень бледен. Палящее солнце никак не отразилось на цвете его кожи. Он начал выступление. Говорил он очень красноречиво, но казалось, что его самого сказанное мало интересовало. Из уст его без всякого напряжения извергался поток большевистских и общесоциалистических лозунгов. В нужных местах он делал паузы для аплодисментов со стороны коммунистов. Долли Михайловна без стеснения зевала. Она взяла меня под руку. Я услышал, как оратор произнес имена Маркса и Энгельса и подумал, что вот сейчас будет торжественное открытие статуи. Но он продолжал говорить, и ничего не происхо-

дило. Наконец он передал городу «Красный сад» и высказал надежду на то, что это послужит на благо народа, развитие искусства и свободное процветание любви. Сад-де — символ заботы Республики Советов о благе и чаяниях пролетарских масс. При этом он должен стать для народа святыней, заменой невежественной церкви, да, на этом месте будет возведен пантеон героев интернационального братства. Со временем здесь будут возвышаться памятники таким мужам, как Платон и Бабёф, Маркс и Энгельс, Бланк и Делеклюз, Ленин и Либкнехт. С помощью австрийского скульптора, бывшего военнопленного, а ныне свободного гражданина, он положил начало этому делу и велел установить первый памятник. Он долго колебался, какой из исторических личностей первой оказать эту честь. Думал и о Люцифере, и о Каине. Оба они были угнетаемыми, мятежниками, крупными революционерами. Но первый из них — теологический образ, не соответствующий идеологии марксизма. Свет, который он нес, потух, после того как разрушилось общество, страх и ненависть которого он олицетворял. А второй — фигура мифологическая, историческое существование которой сомнительно. Поэтому он решил выбрать недву-

смысленную земную личность, историческое лицо, ставшее жертвой религиозного мировоззрения или социальной эксплуатации… И кто же это может быть, как не человек, который вот уже два тысячелетия безвинно прикован к позорному столбу капиталистической историографии, красный предтеча мировой революции, двенадцатый апостол лидера буржуазии Иисуса Христа? Это Иуда Искариот!

Оратор постепенно вошел в раж. Собравшиеся вряд ли понимали, о чем он говорил, но под его обжигающим взглядом чувствовали себя неуютно. Раздалось несколько выкриков, многие русские набожно перекрестились. Комендант замолчал, по-видимому, мало заботясь о впечатлении, которое произвели его слова. Однако выражение его лица выдавало мучительные сомнения. Затем он начал сначала, точно продвигаясь ощупью, и заговорил о часе воскресения, апостоле угнетенных, диктатуре пролетариата, братстве, Интернационале, топчась при этом на одном месте. Его лицо дергалось, точно под плеткой, преследующей его мысли. Он ухватился обеими руками за край трибуны, и ногти его буравили красную ткань. Но внезапно лицо его просветлело, он наклонился вперед и таинствен-

но произнес: «Я несу вам послание, потому что во мне истина. Разве вы меня не узнаете? Я — Спаситель нашего времени. Это я», — прошептал он. Сомнений быть не могло: этот человек был безумен. Он верил в то, что был Иудой.

В эту минуту раздался шум аэроплана, пролетавшего в раскаленном воздухе над садом. Оратор на миг прислушался и провел рукой по лбу. «Да здравствует мировая революция!» — неожиданно вдохновенно закричал он, при полном самообладании спустился в трибуны, поклонился Долли Михайловне и попросил ее открыть памятник.

Долли Михайловна поднялась, и комендант вложил ей в руку веревку. Она несколько раз дернула, и соскользнувшая ткань открыла взорам красно-бурую обнаженную фигуру, выполненную в гипсе, сверхчеловеческих размеров, с лицом, угрожающе поднятым к небу, и рукой, судорожным движением пытающейся содрать с шеи кусок натуральной пеньковой веревки. Когда показалась фигура, оркестр грянул Интернационал, мы все поднялись и обнажили головы. В другом конце сада полевая пушка дала один за другим три громких залпа. Заряды с дьявольским свистом пролетели над нашими головами и упали бог знает где. Я слышал, как красный ко-

мендант что-то сказал Долли Михайловне, после чего обнял ее и поцеловал в губы. И не успел я сообразить, что происходит, как она повернулась ко мне, и я почувствовал в своих руках ее мягкое тело, задохнулся от душного аромата пудры, а ее алые влажные губы сомкнулись вокруг моих, как теплое озеро. На миг мне показалось, что жара, висевшая в воздухе, вспыхнула белыми языками пламени. Прочтя в моем взгляде полное недоумение, Долли Михайловна посмеялась надо мной, повернулась к следующему и подарила ему поцелуй, который вслед за тем стал передаваться от губ к губам. У меня дрожали колени. Я был близок к тому, чтобы здесь, на открытой площади, под палящим солнцем, получить солнечный удар. Качаясь, я скрылся за апостолом в тени темных кипарисов.

Когда наступил вечер, а вместе с ним и прохлада, начались танцы. Отдельные огоньки горели меж деревьев, но вскоре погасли. Только площадка для танцев оставалась освещенной, дуговая лампа бросала белый лунный свет на искаженную фигуру апостола. А народ рассеялся в темном саду. Это была чудесная летняя ночь. По земле откуда-то разносились звуки вальса, и медные литавры отбивали такт, напоминая

приглушенную музыку цикад. А из небесных сфер разливалась всепоглощающая тишина. Высоко над нашими головами в ночной синеве небосвода в тихом танце дрожал небесный свет, вечный Интернационал звезд.



Вместо послесловия
Артём Силкин «Воспоминание о Волге»

Артем Силкин — директор Государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника «Остров-град Свияжск».

Я вырос на Волге и, можно сказать почти без преувеличения, в Волге, поскольку всё лето проводил в воде, на воде или у воды. Мой летний маршрут был стабилен: на университетской базе отдыха «Кордон» мы сначала снимали комнату, а после купили домик из толстого картона обшитого досками, но зато прямо на берегу, поскольку воды Волги смыли передний ряд домиков лет за 10 до нашей покупки. На Кордон можно было ехать на быстрой «Ракете» за рубль или на «Омике» за 45 копеек, при выезде из казанского речного порта все скапливались на задней площадке и кормили хлебом чаек, летевших за теплоходами.

Почти напротив стоял небольшой дебаркадер,

на дебаркадере жил и работал шкипер дядя Тагир, его жена тетя Зухра и их сынишка Рустем, товарищ моих детских летних дней. Дружба с дядей Тагиром давала возможность ловить рыбу с дебаркадера, потому что это было запрещено для «рыбачков», как называл дядя Тагир людей с удочками, которых он презирал. Сам он рыбу, конечно, тоже ловил, но на «длинную удочку», как у нас говорят, то есть сетью, таясь от грозного Рыбнадзора. Он был «рыбаком», а мы все — «рыбачками».

У дяди Тагира была лодка «казанка» «с булями», то есть боковыми поплавками, и мотор «Вихрь 30 Р», который мы, не отличая букв от цифр, называли «Вихрезор».

Под выходные дядя Тагир садился в свою моторку, в уголке рта у него была неизменная сигаретка, давал полный газ и ездил за продуктами, ягодами и водкой на другой берег — в Шелангу. Особым шиком было ездить на маленьких и легких «казанках» под «вихрями», рассчитанными на более тяжелые катера. Лодка при этом вставала под углом 45 градусов к воде и мчалась, почти не касаясь ее поверхности. Так и вижу: жаркий июнь, и дядя Тагир, как какое-то неземное существо, составляющее одно целое с лодкой, с сигареткой

в зубах, несется с задранным носом под грохот «вихря» на тот берег…

Рядом с дебаркадером долго стоял ржавый теплоход «Валерий Чкалов», по неизвестной причине навечно оставленный там. В трюмы Чкалова можно было только с папой, по металлическим лестницам, трюмы были затоплены темной водой, пахнущей дизельным топливом, черную воду пронзали солнечные косые лучи из иллюминаторов.

Прямо перед домом лежала перевернутая большая деревянная лодка-перевоз с острым носом-клювом, такие большие лодки лодки называли у нас «воронами». Под лодкой можно было прятаться с детьми от дождя, а в солнечный день — загорать, только надо было расстелить покрывало, иначе всё тело пронизывала острая отшелушивающаяся старая краска, десятью слоями которой лодка была покрыта за свою долгую жизнь. Наши юные подруги в солнечную погоду обсыпали лодку, укладываясь на разноцветные полотенца, и мы вместе купались, плавали и валяли дурака на реке.

В какой-то момент на берегу намыли широкий песчаный пляж, чтобы предохранить берег от разрушения; мы гуляли по берегу, кричали

в длинные, по сотне метров, большие трубы, оставшиеся от земснарядов на берегу, удивительное эхо отвечало нам оттуда из металлических глубин.

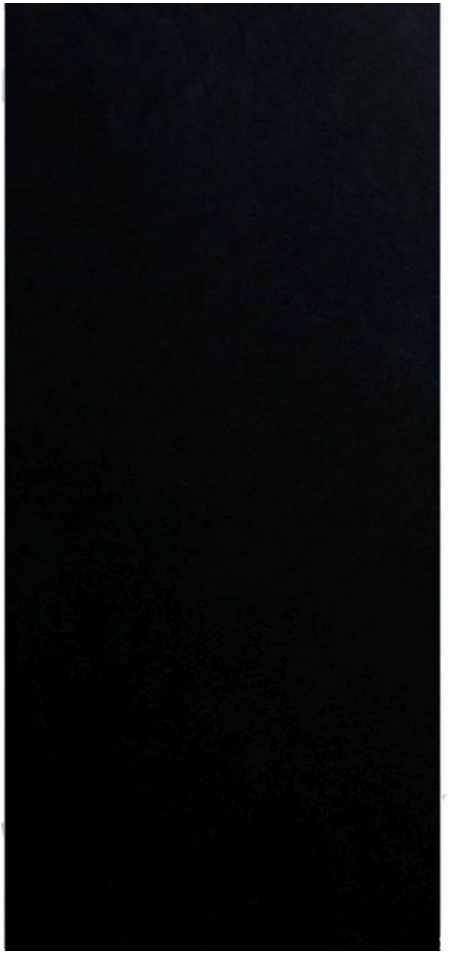
Однажды к вечеру народ засуетился у дебаркадера: к нему прибило утопленника. Дядя Тагир сплюнул и, взяв багор, стал отталкивать его от причала: не хотелось долгих разбирательств с милицией. Однако кто-то уже сообщил куда следует, и следующие два дня я видел грустного дядю Тагира, беседовавшего с милиционером. Тело вытащили на берег и через некоторое время увезли.

На утопленника, конечно, очень хотелось посмотреть, это было любопытно и страшно, мальчишек отгоняли, но краем глаза я успел разглядеть раздувшееся от воды тело в одежде рыбака с приставшими к нему водорослями. Ночью мой товарищ Руслан, с которым мы ходили смотреть утопленника, по словам его мамы, отругавшей меня, бился ногами в стену во сне и кричал. Я выслушивал упреки и внутренне гордился, что мне кошмары в эту ночь не снились.

Вечерами рыбаки возвращались с вечернего клева, и на берегу все начинали чистить рыбу, потроха обычно оставляли там же, на берегу, к

утру от них ничего не оставалось — их съедали птицы и выползавшие в темноте раки.

Я особенно запомнил один из вечеров, когда у всех, видимо, был хороший улов, и в закатном свете на полоске у прибоя лежали на протяжении сотни метров вынутые из крупных рыб внутренности и сердца, которые продолжали еще долго биться в такт волнам. Потом стемнело, но бьющееся судачье сердце стояло у меня перед глазами, и до сих пор я хорошо помню закат, тихие волны и бьющееся сердце Волги.



Волга — с одной стороны, метафора концентрированной «русской жизни», с другой, двухнедельный гедонистический вояж — уже несколько веков привлекает к себе внимание иностранцев, желающих познать Россию, но при этом не испытывать себя на прочность путешествием по Транссибу. В сборник «Вниз по Волге» вошли три репортажа зарубежных специалистов, побывавших на Волге в советские годы. Вместе они представляют не только интересный взгляд на СССР изнутри «витрины великого эксперимента», но и фиксируют в моменте состояния городов, спускающихся по Волге к Югу России, отмечая их локальные особенности, возникающие на пересечении вертикали реки и горизонтальных контекстов страны.

ISBN 978-5-91103-680-5



